

Валентин Сорокин

Крест поэта

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34109961
ISBN 9785449091550*

Аннотация

«Крест поэта» – одна из самых правдивых книг, которые родились в горькие 90-е годы XX века. Лишенная какой бы то ни было рекламы, она выдержала несколько изданий и стала не только учебником патриотизма, фактом литературы, но и пронзительным документом времени. Книга «Крест поэта» поставила её автора, Валентина Сорокина, в ряд выдающихся певцов и защитников России и русского народа. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

ДРУГ МОЙ!..	5
ДЕЛО №11245	8
КРЕСТ ПОЭТА	78
1. Дьяволы	78
2. Белая выюга	113
3. Крест поэта	147
4. Судил их рок	183
5. Дункан танцует	216
Конец ознакомительного фрагмента.	246

Крест поэта

Валентин Сорокин

Редактор Лидия Сычёва

© Валентин Сорокин, 2024

ISBN 978-5-4490-9155-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Переиздание книги В. В. Сорокина «Крест поэта», вышедшей в издательстве «Алгоритм» в 2006 году. Редактор выпуска – Лидия Сычёва.

ДРУГ МОЙ!..

Десятки лет истребляют наш народ войнами, клеветою, бесправием и нищетою, теперь же – новыми раскулачиваниями и новыми выселениями из отцовских и дедовских гнезд под иговым туманом приватизации и суверенитета.

Разрушив многонациональную страну, антирусская пресса и антирусское чиновничество затеяли преступную свару вокруг русского народа: «Виноваты русские!..», «Гоните русских!», «Убивайте русских!..» Рыночные инопланетяне крест занесли над нами. Но там, где пролили расисты и хриstopродавцы русскую кровь, там – взбунтовались воды, взметнулся огонь и заворочались скалы, землетрясения, потопа и пожары окликнули их, грозно предупредили разорителей: «Остепенитесь, угорелые!»

Мы, старатели слова, теряя великую разноплеменную державу, сброшены с вершины вдохновения в адский котел взаимных упреков, взаимных негодований, перехлестов и непрощений, но разве перед нами не единственный путь – Божья Тропа к примирению?.. Покой – в истине и благородстве.

Убит Пушкин. Убит Лермонтов. Убит Гумилев. Затравлен Блок. Затравлена Цветаева. Затравлен Есенин. Затравлен Маяковский. Уморен голодом Хлебников. Убит Павел Васильев, убит Борис Корнилов, убит Дмитрий Кедрин, убит

Николай Клюев, колымской пургой замечена молодость Варлама Шаламова и Бориса Ручьева. Русскому таланту – заграда!..

Мы, рожденные в канун сороковых, напуганы расстрельными пулями, просвистевшими над юной головой сына Есенина – Юры – и уничтожившими его, о чем, вырастая, мы узнавали из запрещенных тайн.

Кто русских сегодня пощадит, ну?.. Где Дмитрий Блинский? Где Павел Мелёхин? Где Вячеслав Богданов? Где Иван Харабаров? Где Борис Примеров? Где Николай Рубцов? В могиле. Под крестами.

Они – мое поколение. Они, как те наши предшественники, отобраны у русского народа и уничтожены цинизмом унижений, немостою безвестности, адом водки, неизбежностью петли... Пленники внедренного неуютя.

Книга «Крест поэта» – повесть, герои ее – ограбленный, оклеветанный, истерзанный русский народ, друзья, склоненные над ранними могилами сверстников своих крылатых, которым зверозубые мерзавцы перерезали соловьиное горло.

Если я против кого-то сгустил гнев – простите! Прости меня, широкоглазая Россия, за дерзость вдруг заговорить о страшном обмане, напущенном на нас торговыми оккупантами. Скоро явится более сильный и скажет более отважно. А я... я не могу... мешает скорбь. Я всю жизнь храню имена братьев моих, верностью и любовью озаривших родные дали.

Друг мой, не к злобе зову тебя, а к разуму и доброте, не к безвольному осуждению, а к достоинству и умению зову. Еще не раз мы улыбнемся встречному солнышку, помня, что Россия принадлежит нам.

Защити ее!

Валентин Сорокин

15.11.97

ДЕЛО №11245

Красивый, сильный, одних покоряя отвагой, других дразня дерзостью, он не вошел, а ворвался в поэзию, как влетел на разгоряченном коне, с гиком – таков Павел Васильев.

Казалось, в нем соединились два древних ветра, русский и азиатский, соединились две доли, русская и азиатская, коснулись крылом друг друга два материка, Европа и Азия. Мятежность, буйство, тоска, переходящая в страдание, в скорбь, это – возвращение к звездным скифским далям, к думам вечным: кто я, что я?..

Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже.

А «волос русый у меня», как говорит Рюрик Ивнев, встретивший юного Павла Васильева во Владивостоке, – «золотая кудрявая шапка, золотой огонь» покачивался на крепких плечах сибиряка. Рюрик Ивнев, рассказывая о Сергее Есенине, вспоминал Павла Васильева: «Нет, понял я, не умрет русская удадь, русская статья, русская храбрость слова, за Сергеем Есениным Павел идет, Павел пришел, невероятно талантливый, чуть на него похожий, только резче, объемнее,

размашистее – от моря до моря!»

Два ветра – два крыла. Два пространства – два крыла. Две брови, с раскосинкой, глаза, изумленные, ошеломленные восторгом, дружбой, любовью, миром, раскинувшимся у ног, глаза, хохочущие, грустящие, виноватые – озорника и атамана очи, все, цепкие, хватающие: ни ускользнуть от них, ни увернуться!.. И – голова, золотистая, матерью дана поэту, Родиной дана поэту, дана для песен, былин и славы.

Так он богат даром чувств, богат ощущениями художнического неодолимого богатырства, страстями, бросающими его по селам и городам, краям и республикам страны. Павел Васильев – мудрец. Иначе бы он и не справился с самим собою, пропал бы в богемной бездне или во взорванном вулкане противоречий. Но, удивительно земной, Павел Васильев не погиб от страшной своей банальностью трагедии – творческой неуправляемости, одаренный переполненно, а погиб от волчьей пасти того психозного времени, погиб от волчьей зависти безродных негодяев, от их фискального засилья, от их фарцовых расправ.

Стадо серых мышей, стадо кровавых грызунов, полонивших ветровые просторы нашего Отечества, не дало спасти себя поэту. А как затаенно, как точно и трагично предугадывал собственный исход Павел Васильев?

Зверя сначала надо гнать
Через сугроб в сугроб.

Нужно уметь в сети сплестать
Нити звериных троп.

Зверя сначала надо гнать,
Чтобы пал, заморен, и потом
Начал седые снега лизать
Розовым языком.

Начали гнать сразу. Лишь поднялась похожая на есенинскую золотая, русокупольная голова над русской землей, над расстрелянной Россией нашей, не успевшей еще выплакаться у могилы Сергея Есенина, свежестрящей заснеженными цветами на Ваганьковском кладбище, не успела еще родная Россия чуток забыть Николая Гумилева и Александра Блока, а тут золотоволосого, талантливого, доверчивого, сильного Павла поставили – распять собираются...

А ему некогда умереть-то, слишком юный, слишком надежный, слишком радостный и распахнутый:

Так мы идем с тобой и балагурим.
Любимая! Легка твоя рука!
С покатых крыш церквей, казарм и тюрем
Слетают голуби и облака.
Они теперь шумят над каждым домом,
И воздух весь черемухой пропах.
Вновь старый Омск нам кажется знакомым,

Как старый друг, оставленный в степях.

Поэту – двадцать лет. Рядом – любимая. Впереди – жизнь. Идут они – город знакомый, а если нет, беда разве. Но – «друг, оставленный в степях»? Но – «крыш церковей, казарм и тюрем»? Пейзаж – «тот», после гражданской войны, после усиления претензий к сеятелю, к рабочему, стихотворцу. А ведь Павлу – двадцать лет, а ведь сказать, намекнуть о правде – опасность великая. Мудрец Павел, честный Павел, тревожный Павел, настороженный – обман чует, звериный гон чует. И – гон случится.

Пускай прижмется теплою щекой
К моим рукам твое воспоминанье,
Забытая и узнанная мать, —
Горька тоска... Горьки в полях полыни...

Глафира Матвеевна, мать поэта, играла на многих музыкальных инструментах. Николай Корнилович, отец поэта, учитель. Дом Васильевых собирал людей интеллигентных, умных, редких. Талант, вдохновение, русские надежды теснились и действовали под крышей дома. Паша Васильев, мальчик, слушал разговоры, слушал суждения, песни слушал, музыку слушал, из красоты и горя в жестокий авральный мир выходил.

Недаром, когда расстреляли, забили, как благородного

оленья забивают ошалевшие от вина и крови бандиты, сибирские люди часто видели среди толпы, на базарах и сходках, прочного крупного человека, читающего стихи, главы из великолепных поэм, это – отец Павла Васильевича, не примирившийся с убийцами, с палачами, браня Сталина и Молотова, приговаривал; «Ах, какого поэта загубили! Ах, какого поэта загубили!..»

Читал, по толпе толкался, боль остужал, не мог, видно, дома-то задержаться – дом разрушен приговором, уничтожен дух его, музыка его. А мать? Отец хоть читал, бранил чахоточных гномов русской земли, а мать? Братишку из института выволокли и – в тюрьму. Отца из толпы выволокли и – в тюрьму. А где остальные, еще два брата? Где мать?

Теперь – Каракумы крови песком шуршат, песком шумят. Теперь – могила Павла потеряна, могила его отца потеряна. А мне и ныне чудится: ходит отец один, ходит ночами по улицам сибирских деревень и городов, обращаясь:

Друзья, простите за все – в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят —
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юности, как с девушкой, распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово —родны я,

От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него,
Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним.
Вы обо мне забудете, – забудьте! Ничего,
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.

Так бывает на свете – то ли зашумит рожь,
То ли песню за рекой заслышишь, и верится,
Верится, как собаке, а во что – не поймешь,
Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочками за горечь мою,
За то, что смеялся, покуль полыни запах...
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,
Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

Далее – стихотворение еще точнее рисует лагерь, дозоры, но ведь Павел Васильев написал его в 1936 году. Почему? А потому – предчувствие гибели не давало ему покоя. Поэт, глубокой осенью 1929 года заявившись в Москву, не нашел в ней счастья. С одной стороны – внимание к нему, к его могучему таланту, публикация поэм, бурные выступления, с другой – зависть кровавых карликов, обвинения Павла Васильева – в национализме, шовинизме, фашизме, антисемитизме...

Невероятно, гениально одаренный, рожденный стать Пушкиным своего времени, русский, он и не понимал, как парящий орел, почему же раздражает копошащихся жуков огромностью, красотой и независимостью размаха степных крыльев? Их он раздражал. Они его раздражали. Они – зубоскалить. Он – зубоскалить. Они – злиться. Он – злиться. Они – в ярости. Он – в ярости.

Бесконечные накачки, обвинения, придирки, угрозы. Суд над ним – в 1932 году. Помяли – выпустили. Суд над ним – в 1935 году. Помяли – выпустили. Зарядили гневом. Поиздевались. Дали – условно, три года. Каково? Практически – в Москве Павел ежедневно оказывался под зорким наблюдением, доносом, гнетом сионистских сил.

Можно удивляться его мужеству, его способности – оставаться живым. В Павле Васильеве держалась великая народная культура, помноженная на интеллект родной семьи, ее идеал: много знать, служить Отечеству. Осыпанный из щедрых ладоней Бога разными талантами, поэт рано впитал, успел, начитанность поколений, музыкальность поколений, работоспособность поколений, философию и красоту поколений:

Шла за мной, не плача и не споря,
Под небом стояла, как в избе.
Теплую, тяжелую от горя,
Золотую, притянул к себе.

Какая «вязанка» чувств, страстей, какая нежность, образ какой – русский, серьезный, рассчитанный на муки, на радость, на долгое брение в океане жизни. Это – в двадцать три года лепит, из бронзы льет Павел Васильев. И когда Сергей Залыгин навязчиво, с чалдонской непосредственностью, повторяет: «инфантильность», «натурализм», «грубость», «народность», «отсутствие поэтической культуры», с ним никто из понимающих творчество Павла Васильева не согласится. Павел Васильев – оратория гения, богатырство гения, пророчество гения! И безукоризненное «поведение» Залыгина – не для него.

Случайно ли, через год после смерти Сергея Есенина, Рюрик Ивнев, а ему не откажешь в культуре, во Владивостоке встретив шестнадцатилетнего подростка, золотоголового, летящего, с глазами широкими, раскинутыми жадно на весь мир, приблизил его к себе, к Есенину, к России, которая и так стонала в груди юного певца? Благодарный, откликающийся на дорогу, гордый мальчик, Павел Васильев, стихами «платит», на память, расставаясь:

Рюрику Ивневу

Прощай, прощай, – прости, Владивосток,
Прощай, мой друг, задумчивый и нежный...
Вот кинут я, как сорванный листок,
В простор полей, овейных и снежных.

Я не хочу на прожитое выть, —
Не жду зарю совсем, совсем иную,
Я не склоню мятежной головы
И даром не отдам льняную!

Прощай, мой друг! Еще последний взгляд.
Туман тревожно мысли перепутал.
В окно мелькают белые поля,
В уме мелькают смятые минуты...

Из содержания этого стихотворения ясно: поговорили они о Есенине, трагедии его, облике его, ведь «льняная», ведь «мой друг, задумчивый и нежный» и «даром не отдам» – разве не доказательство того?

Но Залыгин упорно «приторачивает» Павла Васильева к Демьяну Бедному. Зачем? Лишь потому, что Павел Васильев сказал: «Сколько струн в великом Мужичьем сердце каждого стиха!» Это – причина? Но вот ответ Рюрика Ивнева, повторяю, через год после гибели Есенина, через год:

Павлу Васильеву

Пустым похвалам ты не верь!
Ах, труден, труден путь поэта.
В окно открытое и дверь
Льет воздух – лекарь всех поэтов
Ушаты солнечного света.
В глаза веселые смотрю.

Ах, все течет на этом свете!
С таким же чувством я зарю
И блеск Есенина отметил.
Льняную голову храни,
Ее не отдавай ты даром,
Вот и тебя земные дни
Уже приветствуют пожаром!

Поэты, юный, шестнадцатилетний Павел Васильев, и опытный, тридцатилетний Рюрик Ивнев, обменялись не посланиями, а предчувствиями надвигающейся беды, кровавой катастрофы, да, кровавой катастрофы. Приветствуя в Демьяне Бедном «мужичьи струны», Павел приветствовал Демьяна не в лучшие сроки для себя и Демьяна, и это заслуживает уважения, но юный поэт не хуже Залыгина знал и понимал разницу между Сергеем Есениным и Демьяном Бедным, между собою и многими, многими другими...

Дальнейшая жизнь Павла Васильева переплелась с есенинской семьей, он появлялся даже в Рязани, он, а тогда было крайне опасно, громко воспевал «князя песни» – Сергея Есенина, воспевал сестру Есенина – Екатерину, ее мужа, поэта и своего друга – Василия Наседкина:

Али тебя ранняя перина
Исколола стрелами пера?
Как здоровье дочери и сына,

Как живет жена Екатерина,
Князя песни русская сестра?
Знаю, что живешь ты небогато,
Мой башкирец русский, но могли
Пировать мы все-таки когда-то —
Высоко над грохотом Арбата,
В зелени московской и пыли!

Не миновал Павел Васильев и Маяковского, правда,
не так «наследственно», не так «традиционно»...

И вот по дорогам, смеясь, иду,
Лучшего счастья
Нет на свете.
Перекликаются
Деревья в саду,
В волосы, в уши
Набивается ветер.

Ну, скажите, разве вам не напоминает эта строфа знаменитые строки Владимира Маяковского?

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,

иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

Зачем Залыгин отказывает Павлу Васильеву в знаниях окружающей его поэзии – творчества современников, утверждая: «Опытом своих современников Васильев пренебрегал. Маяковского будто для него не существовало. Напрасно критик К. Зелинский ставит его и рядом с Есениным». Да, ничего себе!

Я уважаю, ценю Сергея Павловича Залыгина, писателя, лауреата, секретаря, главного редактора, депутата, соцгероя, общественного деятеля, председателя наших «зеленых», но он, «взбегая на ямбы» Павла Васильева, теряет «ямбы» Есенина к Маяковского, скачущие впереди, как не менее известный и государственный человек, Дмитрий Сергеевич, да, Лихачев, взбегая на «ямбы» Пушкина, скользит по другим – по «ямбам» Осипа Мандельштама, не отличая их от «ямбов» Александра Пушкина.

Павел Васильев, безусловно, наделен талантом гениального поэта, и приход его на «пепелище» русской поэзии, когда вместо русской поэзии мерцало окровавленное, взятое огнем и свинцом черное, скорбное пространство, закономерен. Бог, русская земля послали Павла Васильева предупредить:

«Ах, уж как лежал
Сашенька наш родненький,
Все-то личико у него

В кровиночках,
Пальчики-то все перебитые...»

Народ так лежал, сыны и дочери, изувеченные фанатиками опрични, так лежали. Слова – сказ, слова – былина. Слова – плач.

Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век, —
Задыхаясь, ко мне приходила другая,
И с волос ее падали гребни и снег.

Это – боль верности. Это – пушкинское, есенинское. Это – русское. Это – в пространстве души. Это – во вздохе памяти.

Да и укоротить ли стихи Павла Васильева до обывательского и мелкого росточка завистников? Они, его стихи, как сибирские реки, широко идут, далеко идут, тяжело идут – накатно, охватывающе:

Брата я привел к тебе, на голос
Обращал вниманье. Шла гроза.
Ядра пели, яблоко колосось?
Я смотрел, как твой сияет волос,
Падая на темные глаза.

Или:

Брат держал в руках своих могучих
Чашу с пенным, солнечным вином,
Выбродившим, выстоенным в тучах,
Там, под золотым веретенном!

Или:

Но вас, матросы, крестьянские дети,
После битв
От друзей, от морей, от подруг
Потянуло к полузабытой повести,
Как гусей, как гусей на юг...
Быть вам радостными,
Быть счастливыми!
Пчелокаемся – вот рука...
Вы, цемент
И оплот актива
Пробуждающегося Черлака!

Павла Васильева, погибшего в двадцать шесть лет, обвиняют в малограмотности – против коллективизации выступал, обвиняют в жестокости – рисовал свары и расстрелы, обвиняют в национализме – пророчил гибель России. Интересно, кто же оказался грамотней и честнее, юный Павел Васильев или увешанные орденами и званиями ликующие те-

перешние старцы?

Время перед кровавой вакханалией 1937-го было взвинчено еврейской подозрительностью, еврейским криком об «угрозе со стороны правых», «русском национализме», «русском шовинизме», «русском монархизме», «русском возможном терроре», «русском заговоре против ВКП (б), против правительства и советской власти», но самое главное – «русском антисемитизме». И, понятно, любой русский человек, относящийся к себе с маломальским уважением, – «антисемит», «черносотенец»!

Но редакции газет и журналов, театры, институты, кино были Наглухо» заселены евреями, во всяком случае не меньше, чем заселены они сегодня. Русские дарования, стремящиеся найти русскую поддержку, натыкались на еврейский «от ворот поворот» и, естественно, приходили в отчаяние, в ярость. Мелькали среди русских и храбрецы, не собирающиеся лизать блюдо после хозяина. Один из таких – Павел Васильев.

Встретив во дворике ВРЛУ младшего друга, поэта Сергея Поделкова, студента, Павел троекратно поцеловал его «крест-накрест», обнимая. А в стороне стоявшие Женя Долматовский и Маргарита Алигер заметили однокашнику, Поделкову:

– За что он тебя так?

– За то, что он мой друг, талантливый русский поэт! – отрезал Павел.

– Ну, погоди! – крутнулась Алигер.

Начался визг. Скандал. Алигер быстро притащила толстую восточную Зою Тимофеевну, завуча.

– Бандит, – басовито руганула та Павла, – вон, фашист! Катясь чугунным теплым телом на Павла, понося Поделкова, она швыряла в лицо Васильеву:

– Посадить тебя, арийца, мало! Расстрелять тебя, расиста, мало!

Бледный, помертвевший в гневе, Павел Васильев отряхнул оцепенение и подскочил к «интернационалистке»:

– У, б... – И чуть мизинцем коснулся правой ее груди. Та осела, сделала вид – обиделась и, напирая на свидетелей и зело оптимизируя Маргариту Алигер, по тревоге подняла ректорат и коллектив Всесоюзного рабочего литературного университета. Сергея Поделкова исключили. На собрании Алигер обвинила его в нелюбви к Сталину, комсомолу, советским поэтам. А над Павлом Васильевым еще темнее нависли тучи.

Конечно – хулиган. Конечно – сын крупного кулака, учителя... Конечно – бандит. Но и хуже случались у Павла штучки. Вот сидит он с земляком, сибиряком Макаровым, в Клубе литераторов, потанцевать парням захотелось, обратились за разрешением к директору, Эфросу:

– Потанцевать можно «русскую барыню»?

– Шовинист! – подпрыгнул Эфрос.

– Можно?

– Черносотенец, белогвардеец!

– Белогвардейцу в тысяча девятьсот семнадцатом было семь!..

– Ты меня за нос не проведешь! – орал Эфрос.

– Проведу! – возразил Павел. Согнутыми, двумя, большим и средним, пальцами Павел зажал добротный кухонный нос и неторопливо повел Эфроса по круглому залу. Эфрос подергался, подергался и засеменял.

Инцидент гораздо гнуснее, чем в ЦДЛ, где Осташвили уронил у Курчаткина очки. Гнуснее! Осташвили – антисемит. А тут – антисемит, белогвардеец, шовинист, монархист, заговорщик, расист, террорист, фашист, мечтающий разгромить советскую власть, ВКП (б), Политбюро и Сталина, вождя всех дружно обожающих его народов СССР. Павел Васильев, схвативший за нос Эфроса, директора Клуба литераторов, – шпион, лютый враг.

Да, еще – Павел перед окном особняка Максима Горького плясал и частушки пел! Фашист. И великий пролетарский писатель заклеил изверга: «От хулиганства до фашизма расстояние меньше воробьиного носа!» Нос Эфроса сделался знаменитым, как очки Курчаткина...

Ну разве не фашист Павел Васильев? Разве не бандит? Разве не малограмотный разбойник? Разве не бездарный ху-

лиган? Разве не грубый зазнайка и неуч?

Не смущайся месяцем раскосым,
Пусть глядит через оконный лед.
Ты надень ботинки с острым носом,
Шаль, которая тебе идет.

Шаль твоя с тяжелыми кистями —
Злая кашемирская княжна,
Вытканная вялыми шелками,
Убранная черными цветами, —
В ней ты засидишься дотемна.

О, эта павло-васильевская пушкинская летящая страсть,
конница, лавина слов, построенных чутко и сурово! Она —
великая. Она — набежная. Она — вырублена из скалы. Она —
подслушана у бури. Она — золотая, как августовская степь.
Она — непобедимая, как беркут.

Я помню шумные ноздри скачек
У жеребцов из-под Куянды,
Некованых
Горевых
И горячих,
Глаза зажигающих
Кострами беды,

Прекрасных,
Июльскими травами сытых,
С витыми ручьями нечесаных грив...
Они танцевали на задних копытах
И рвали губу, удила закусив.

Огонь характера. Буйство природы. Желание стронуть, толкнуть и дать движение земному шару! Талант Павла Васильева – река Волга, атаманский талант.

В народе выкосили, казнили – самых сильных, самых русских, самых надежных. В поэзии выкосили, казнили – самых одаренных, самых неукротимых. И теперь, часто, журчащий родничок мы принимаем за Иртыш или Волгу. Потому – нет в музыке ливня. Потому – нет в стихах могучего ветра. Золотая жила, золотой пласт, сильнопородный русский ток уничтожены полями, атаками, лагерями, голодом и холодом.

За Гумилевым, Блоком, Есениным, Маяковским уничтожены – Васильев, Клюев, Корнилов, Кедрин, Шубин, Недогонов, уничтожено «подземное русло» реки, на котором держатся надземные воды... Уничтожили их всех, кого – страхом и водкой, кого – колесом трамвая, кого – приговорами розовских, вышинских, урлихов и прочей своры шизофреничных мясников.

Уродики, уроды, могли разве они простить такую роде-нов-скую любовь к жизни, к призванию, такую раннюю отзывчивость на мудрость и красоту?

Ну что ж!
За все ответить готов.
Да здравствует солнце
Над частоколом
Подсолнушных простоволосых голов!
Могучие крылья
Тех петухов,
Оравших над детством моим
Веселым!
Я, детеныш пшениц и ржи,
Верю в неслыханное счастье.
Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи
Руки мои
От своих запястий!

Это захлебное, это орлиное чувство простора, чувство самого себя выдавалось, да еще и ныне бездарно и беспечно выдается за «жестокость», за «натурализм». Эх, карлики, во всем они – карлики, даже не объяснить их земногорбатость!..

Вот и «копали», вот и «выискивали» в Иосифе Уткине Евгения Боратынского, в Михаиле Светлове Афанасия Фета, в Константине Симонове Николая Гумилева, а в Евгение Гангнусе Александра Сергеевича Пушкина. Порознь. Или во всех – Сергея Есенина. И не стыдно. И не позорно. Кри-

тика – политика. Сионистская. А прерванную золотую жилу народности, даровитости, золотую жилу совестливости, распахнутости, русскости – «связал и зарастил» Василий Федоров, приехавший в столицу с живыми стихами, пылающими, как цветок сибирской сараны:

О беде понятия не имея,
Тополь рос и, кривенький, прямел.
Он потом над юностью моею,
Над моей любовью прошумел.

Долго надо было расправляться и распрямляться тополю, ведь и Василию-то Федорову в Литературном институте диплом не выдали – творчество его «не заслужило» диплома, по мнению ученых. Вот и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев на телеэкране взбадривает нас: «Пушкин не только для русских!» Неужели надо академиком стать, чтобы разобраться в достоинствах интернациональных Пушкина? Страх – не уличили бы в «узости», в «тупом» русофильстве «Памяти»... Позор!

Павла Васильева в бессчетный раз повели в подвал, а неумная Алигер заявила Поделкову: «Будешь знать, с кем целоваться!» Вот – паранойя! Не помогши евреям создать полноценную национальную их республику или область, мы, русские, ратующие за национальный благоразумный расцвет русских, имеем врагов – среди евреев, захвативших наши,

русские, очаги в культуре и науке, евреев, подозревающих каждый человеческий стон в национализме, фашизме, антигосударственности, хотя они, очень многие из них, покидая нас, «застревают» в США, Канаде, ФРГ и т.д., не дотянув до Израиля. И – ничего. А мы на Павла Васильева – «бандит»!..

Недавно один «демократ и прораб» перестройки докумекался: «Большевизм – интернациональный шовинизм!» – но кто громче всех кричал об интернационализме и большевизме, не «демократы» ли и «прорабы» перестройки?

Что воспевает Павел Васильев? Родину. Что несет в своем сердце Павел Васильев? Имя отца, доброту матери. Что вспоминает Павел Васильев на торговом судне в море? Братьев, невесту. Что не может предать, забросить Павел Васильев? Дом свой. Семью свою. Как – себя. Как – Родину. Как – слово. Русские должны за ним глядеть. Русские должны его беречь. Но – где он?

Павла Васильева арестовывали и допрашивали, судили и наказывали в 1931-м, 1932-м, 1933-м, 1934-м, 1935-м, 1936-м, 1937-м. Господи, и терпел, выносил, мученик, святой бунтарь, атаман, и не выстрелил в кого-нибудь из этих, дозорящих у его двери подлецов? А ведь – жил, тома стихов и поэм оставил! Мстил, наверно, потливым грешникам талантом, пушкинским даром смахивал их.

Долматовский и Васильев – соавторы приятельства. А прилипнет к нему имя Алигер – исчезнет. Прилипнет

к нему имя Джека Алтаузена – исчезнет. Прилипнет к нему имя Иосифа Уткина – исчезнет. Но Джек Алтаузен, подравшись, – домой, а Павел Васильев – в черный подвал, Уткин – домой, а Павел Васильев – в расстрельный подвал...

А – щедрый, наивно-доверчивый, благодарный, почитайте:

«Милый Рюрик Александрович!

Приехали мы с Андрюшей в Хабаровск так скоро, что поцелуй – которыми Вы нас благословили, отправляя в далекий путь, – еще не успели растаять на губах. А в душе они будут жить всегда.

Остановились мы здесь во 2-й коммун, гостинице №5 – как подобает восходящим звездам литературного мира. Лев Осипович встретил нас так, что мы остались очень довольны. Дал письмо к этому... как его... Казину. Хочет еще кое-кому написать.

Хабаровск после Владивостока – рай. Великолепная погода, снег и широкие улицы...

П. Васильев

P.S. Если Вас не затруднит, так следите в Университете за присылаемыми мне письмами. Потом перешлите в Москву. Ждите стихов, которые Вам посвящаю, работаю.

19/ХІІ-26 г. Г. Хабаровск».

Сколько здесь юности, порыва, дружбы, а чистота душевная такая, что веет мудрецом, церковью!..

Запомнив Павла Васильева, шестнадцатилетнего, осенью 1926 года во Владивостоке, на вечере в университете, опытный и дальновидный Рюрик Ивнев не мог не заметить в нем гигантской могучести поэта, попытался предостеречь его от своры кровавых карликов, ненавидящих русскую душу, русскую речь. После гибели Павла Васильева Рюрик Ивнев как бы себе самому сообщает:

Металась бурей необструганной
Необъяснимая душа
И доставала звезд испуганных,
Забыв о волнах Иртыша.

Все было словно предназначено:
Тоска и слава юных лет
И сходство с тезкою из Гатчины
В неистовстве тревог и бед.

Рюрик Ивнев познакомился с Сергеем Есениным в Гатчине в 1915 году, когда Есенин служил там в лазарете. Не успокоился, не потерял золотые имена нежный брат, русский интеллигент – и позднее, позднее, с высоты пережитого, признается, жалуясь и горюя:

Я помню Есенина в Санкт-Петербурге,
Внезапно поднявшегося над Невой,
Как сои, как виденье, как дикая выюга,
Зеленой листвой и льняной головой.

Я помню осеннего Владивостока
Пропахший неистовым морем вокзал
И Павла Васильева с болью жестокой,
В еще не закрытых навеки глазах.

Вот – «Льняную голову храни!». Вот – «Даром не отдам
льняную!». Но – отдал. Но – отобрали. Подвальные, рас-
стрельные фашисты – отобрали. Они – жесточе иуд. Они –
грязнее и кровавее гитлеровцев.

Я ручаюсь
Травой любой,
Этим коровьим
Лугом отлогим,
Милая, даже
Встреча с тобой
Проще, чем встреча
С дождем в дороге,
Проще, чем встреча
С луной лесною,
С птичьей семьей,

С лисьей норой.
Пахнут руки твои
Весной, Снегом,
Березовою корой...
А может быть, вовсе
Милой нету?

Неужели и Бог взял грех тяжкий на себя – не защитил длянью такого песенника, такого богатыря, такого юного мудреца, лечащего свою тоску и нашу боль шепотом, шорохом, ливнем слова? Неужели завистники, топтуны-ненавистники бездарности охранной сильнее нас, сильнее Бога, сильнее жизни?

Как его можно было арестовывать? Как можно было и в чем можно было его обвинять? А как можно было его, доверчивого, красивого, удивленного, бить, втаптывать в пол? А как, ну, скажите мне, как расстреливать? Как в него целиться? Как нажать на курок?

Верхушка страны десятилетиями разбрасывалась русским народом, как похмельный купец измятыми червонцами. Общежития Магниток и Таджикских ГЭС набивались русскими девушками и парнями. Не будем тут и говорить о войнах, тюрьмах, расстрелах, геноциде, учиненном кровавой мафией, не будем: достаточно и того, что сегодня в русское Нечерноземье русским людям нет пути. Думалось, хоть это правительство, рожденное перед коллективизаци-

ями и раскулачиваниями, делает упор – на заселение опустевших русских земель русскими молодыми семьями, давая им помощь финансами, и, через прессу, – народным одобрением.

Но опять ищем «другие регионы» для поддержки русской рождаемости, русского обихода и уклада. До сих пор верховные власти хронически зациклены на страхе перед «русским шовинизмом, великодержавием, антисемитизмом, фашизмом». А где это все? В русских пустых и ослепших от горя домах, догнивающих в разрушенных деревнях?

У русского народа нет русского государства, а оно должно быть. Надо вернуть печать русскому народу. Нет у нас русской национальной газеты, журнала, радио, телевидения. Кто сидит в редакциях? и где эти редакции? Даже «Правда» трусит брать русскую тему, русскую боль. А большинство новых изданий – просионистского толка и стратегии.

Пора давно провести «ревизию» каждой русской области: выяснить количество отравленной и годной земли, пропавших и целых домов, действующего русского населения в сравнениях: было до Революции – осталось теперь... И сказать о трагедии громко народу. Прекратить преступно скрывать геноцид, повести умную и откровенную пропаганду к возрождению русского народа.

Вернуть русскому народу русскую школу, русский театр, русскую музыку, русскую литературу. Пора понять, что прокуренный голос «баюшки-баю» на экране «для детей» –

не находка. Ребенок слушает голос мамы и ее ладную колыбельную, вызванную ласкать именно его, а не «охватывать массы»...

Думалось, возвращая из Европы армию, сокращая, мы поднимем уничтоженные деревни России, но нет – будем платить корейцам, вьетнамцам, ввозить турок-месхетинцев, это – продолжение геноцида, только без подвально-растрельной жестокости. Создать надо немедленно ряд специальных фильмов, вузовских программ для русской девушки, женщины, дабы защитить ее от хищного браконьерства интернациональных торгашей, защитить ее от разврата.

Решить вопрос жилья на селе для русских семей, вплоть до того – обратиться к народу, к церкви за поддержкой, «проголосуют» все. Не затягивать показ русской жизни, а начать его скоро. Прекратить травлю русских деятелей культуры. Рассказать об отобранных у русского народа территориях за 73 года правления нашей антирусской «аристократии».

Школа, вуз, церковь, общественные организации, имеющие соприкосновения с русским горем, обязаны стать честными перед ним и перед народом. Партия обязана извиниться за равнодушие свое к русской беде. Впредь не назначать на большие посты людей, чужих для русской судьбы.

Научить русских чувствовать Россию, бессмертие ее, так поправное антирусской верхушкой за десятилетия унижений, за десятилетия истреблений, будто нашей любимой России вырыли огромную воющую могилу.

Лягавые карлики, обслуживающие газовые камеры, и лягавые карлики, обслуживающие расстрельные подвалы, возвращены по единому повелению и рецепту...

В документах госбезопасности, архивах КГБ, «Дело» №11245 – и есть гибель великого русского поэта Павла Васильева. В «Деле» отмечены все ли его аресты и все ли «преступления», особенно – драка Павла Васильева с Джеком Алтаузенем, спровоцированная: Джек Алтаузен назвал с... Наталью Кончаловскую, а у Павла Васильева иные к ней были отношения, иные оценки, мы помним прекрасные стихи, посвященные ей?

Но это – зацепка, как и те его «преступления», Джек Алтаузен неумолимо следует за поэтом. Неумолимо следуют за поэтом ярлыки: «антисемит», «контрреволюционер», «шовинист», «сын крупного кулака», «добровольно вызвавшийся на заседании тайной антисоветской террористической организации убить вождя – Сталина»...

Заметим, «Дело» №11245, так сколько же их, черных кровавых «дел» пропустили через свои палаческие руки дзержинско-ягодо-межинско-ежовско-бериевские убийцы? Кое-где, в газетах и журналах, в устных выступлениях поэтесса Наталья Сидорина и поэт Алексей Марков говорят: «Павлу Васильеву сигаретой выжгли глаза, переломили позвоноч-

ник, надругались над полумертвым – забили кол!..» И вел якобы следствие сын Свердлова – Андрей. Да, яблоко от яблони далеко не падает. Яков Свердлов – лягавый карлик эпохи Революции. Нельзя без содрогания и омерзения глядеть на бронзовую фигурку чертика – памятника, стоящего на пл. Революции. Сын Якова Михайловича, Андрей Свердлов, «специализировался» на интеллигенции: гыгыкал, издевался, пытал, изуверствовал, отмечает жена Бухарина, Ларина, с которой Андрей Свердлов рос рядом, ездили вместе в Кремль, бегали на милые советские праздники. И – ее не пощадил, фашист, гитлеровский горбун.

За драку с Джеком Алтаузенем Павла Васильева исключили из СП СССР в 1935-м, в июне 1935-го приговорили к полутора годам заключения. В марте 1936-го – «освободили». Вмешался ЦК ВКП (б), Куйбышев, помог главный редактор «Нового мира» Гронский. Но алтаузенские шипения, как неумолимые библейские змеи, всюду ползли и жалили русского певца.

Наконец, была ликвидирована «террористическая группа среди писателей, связанная с контрреволюционной организацией правых»... Цель этой группы – террор против вождя ВКП (б) Сталина. В группу вошли партийные литераторы. Но Васильев – беспартийный. Почему? А на случай провала Васильева при убийстве Сталина – легче «зашифровать» правых партийных. А как Павел Васильев доберется до Сталина? Через Гронского – родственника. Гронский

бывает на заседаниях ЦК, связан работой с Молотовым, Кагановичем, с руководителями страны.

А почему Павел Васильев вызвался добровольно убить Сталина? А если убьет, мир заговорит, все в Москве заговорят: «Диктатора убил лучший поэт эпохи!» Иезуиты: берут слова Сталина «лучшим поэтом нашей советской эпохи» о Маяковском и, переворачивая их на золотую осужденную голову Павла Васильева, ими же убивают его. Писатель Карпов М. Я. «завербовал» Васильева, чуя в нем недовольство, мол, такому поэту недодали славы, «завербовал» – за столиком, шутя «завербовал».

Имена «подпольщиков» составили длинный список: Клюев, Забелин, Карпов, Макаров, Артем Веселый, Никифоров, Новиков-Прибой, Низовой, Сейфуллина, Олеша, Перегудов, Санников, Приблудный, Наседкин. Правдухина, мужа, Сейфуллина чуть приберегла – не пригласила на «темное совещание о ликвидации» вождей Отчизны. В группу «террористов» включили и сынишку Сергея Александровича Есенина, Юру, совсем еще наивного паренька, подростка. Подтянули имена Клычкова, Зырянова, вспомнили сибирских «подпольщиков» С. Маркова, Л. Мартынова, русские имена, не ими ли мы ныне гордимся?

Конечно, Джек Алтаузен отлично видел в Павле Васильеве «убийцу» вождя, но вот Иосиф Уткин принял у себя на квартире Раковского, ненавистного Сталину, а Павел Васильев «скрывал террористическую организацию», пока его

не взяли. Джек Алтаузен – дома. Иосиф Уткин – дома. Долматовский Женя и Маргарита Алигер – дома. А Павла Васильева, «антисемита, бандита, паразита», сцапали у Елены Вялой по Палихе, д. 7/9, кв. 158. Следователь – Журбенко. Обыскал Павла – Заблогрит. В документах, кровавых манускриптах, почти никогда не указываются имена и отчества палачей. Фамилия – и точка. Родная фамилия, псевдоним – можно лишь гадать. Но угадать все же возможно...

Павел Васильев «быстро признался»: поднимем крестьянское восстание и уничтожим вождя народов! Павел Васильев «признался»: Артем Веселый собирался выкатить на Красную площадь пушку и лупануть по Кремлю! Надоели – вождь народов, партия, колхозы и прочее! А «подпольщик» Никифоров на тайном заседании восклицал: «Русских писателей угнетают. Литература находится в руках разных Габриловичей, Файвиловичей и других еврейских писателей. Все в руках евреев».

Далее Никифоров «развивал» идею: выдвигать русских талантливых людей на посты в русской литературной обыденности. «Развивал» идею: выступать против еврейского засилья в искусстве. Но 3 марта 1937 года главный исполнитель, как наметило «тайное заседание подполья», русский поэт, «антисемит и шовинист, монархист, белогвардеец и черносотенец», был обезврежен. Сопrotивление «оказал слабое», но, на случай, – «оказал же»?

Следователь Илюшенко, орловский еврей, получает при-

знание» от Павла Васильева: «Террористических настроений у меня не было. У меня подчас появлялись национал-шовинистические настроения. Я умалял роль и значение национальных меньшинств». Начинается игра. Кровавая кромка – не оступись. Если следователь не добьется «признания» в «преступлениях», следователю крышка.

Илюшенко, понимая, с кем он имеет «Дело», будучи очень честным, оставляет «лазейку» Павлу Васильеву: признайся, но посветлее охарактеризуй свои «преступления». Следователь пытался отвести пулю от золотой головы Павла. Поэт пошел бы «по этапу» не как террорист, а как шовинист. Без расстрела и пыток. Без выжигания красивых и озорных глаз, без перелома позвоночника, без садистского надругательства.

Госбезопасное начальство мгновенно заметило «ухищрения» Илюшенко – отстранило. Назначило нового – Павловского. Уже в 1956 году Илюшенко пишет, мол, я понимал невиновность Павла Васильева и попытался вывести его из-под расстрела. Но меня не только «ушли», а, позднее, и посадили, правда, по иным лжемотивам. Илюшенко пишет. «Видя мое к нему отношение, Васильев мне говорил, что он готов дать любые показания, чтобы его только не били... Он говорил, другие заключенные в казармы возвращаются избитыми, а он не хочет, чтобы его били... Васильев мне говорил, что никто его не науськивал на террористические акты, ни от кого никаких заданий не получал, не принадлежал

никогда ни к какой тайной террористической организации. Я верил Васильеву. Меня отстранил Литвин и проработал, а „Дело“ передал Павловскому».

В нескольких «признаниях» Павла Васильева подчеркивается, что он собирался убить Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Ежова. И его «сообщники» собирались их кончить. Убить Сталина – обезрулить партию. Убить Молотова – обезрулить страну. Убить Кагановича – обезрулить Москву. Убить Ворошилова – обезрулить армию. Убить Ежова – обезрулить бдительность Родины. Павловский, пишет Илюшенко, хвастался: я, дескать, не беру «Дело», если там нет двух шпионов иностранных разведок и тридцати участников, клиентов, врагов народа, выросших у нас под боком.

Заблогрит, Литвин, Свикин, Журбенко, Павловский, Якубович, Аленцев – маленькие палачи. Кто-то, подпись неразборчива, им приказывает: «Надо получить показания в более развернутом виде, срок 13/6».

Прав Артем Веселый, хоть и не говорил он: «Выкатить пушку на Красную площадь и ударить по Кремлю!» Мелькает имя Ильи Заславского, еще каких-то совершенно неизвестных лиц, – по протоколам допросов, доносов, протоколам выкручивания рук, вытаскивания «признаний».

Пока не отстраненный от «Дела» следователь Илюшенко работает:

Наркому Внутренних Дел

Н. И. Ежову

От Васильева П. Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я выслушивал их к.-рев. высказывания и скрывал их от Советской власти. Этим самым я солидаризировался с врагами и террористами, оказался у них в плену и таким образом предавал Партию, которая вчера только протянула мне руку помощи и дала свободу.

Можно верить Павлу Васильеву? Нет. Не его это словарь, не его это душа. Смотрите: «солидаризировался», «оказался в плену», «таким образом», «руку помощи», «предавал», «скрывал» и т. д. Несчастных принуждали копировать кровавые заготовки. Читаем «заявление» дальше:

«Тактика их по отношению ко мне, как теперь я вижу, заключалась в том, чтобы сначала исподволь, полегоньку, как бы случайно при встречах со мной проводить скользкие политические намеки, потом заходить все дальше и дальше в антисовет. разговорах, восхваляя меня и одновременно незаметно подставлять мне черные очки, сквозь которые советская действительность видна в их контрреволюционном освещении, и в конце концов окончательно меня прибрать к рукам».

Я даю «куски» из заявления поэта, даю без первых абзацев, где Васильев «признает» врагами народа Клюева, Наседкина, Клычкова, Гронского, «признает» вину в скандале с Джеком Алтаузенем, «упрекает» Гронского в семейном пьянстве, – слишком цинична и груба подтасовка под Павла Васильева. Но давайте разберем кое-что и в этих абзацах...

Павел Васильев – русский поэт, знающий язык, грамматику, орфографию, синтаксис наизусть. А тут: то нет запятой, то логика «движения мысли» переломлена, а уж о «пластичности» изложения и говорить больно.

Поэт и не произнесет – «Тактика их по отношению ко мне», «исподволь», «полегоньку», «как бы случайно», «проводить скользкие политические намеки», «заходить все дальше и дальше», «одновременно незаметно подставлять мне черные очки, сквозь которые», «советская действительность», «в контрреволюционном освещении», «окончательно меня прибрать к рукам»...

Только недруг Павла Васильева, только враг русского поэта согласится с тем, что писал заявление заключенный Павел Васильев. Его пытали. Били. Психологически атаковали. Его «отключали» беспамятством, «оживляли» изуверскими методами – зажимом конечностей, удушием, бессонницей, терзанием, что погубят братьев, жену, отца, мать, как вели себя палачи со всеми несчастными, со всеми подвальными узниками.

Когда узник был доведен до «полусознания», до «полуу-

мирания», ему подсовывали их готовый текст «признания», их кровавый гимн смерти, их кровавое сочинение. Ну кто не подпишет? Кто? Ведь травля «зверя», гон, продолжается и продолжается. Часы, дни, недели, месяцы, года! Господи, разве устоит кто перед этими «клятвенными братьями» нацистов рейха? Никто, ни человек, ни зверь.

До ареста, в марте, Павел Васильев, чувствуя дыхание палача «по следу», мог еще страдать:

Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши все...»

Февраль 1937

Следователь Илюшенко знал, «беря из рук Павла Васильева заявление», где его друзья, его наставники, как прави-

ло, русские люди, русские национальные писатели, упоминаются и называются врагами, знал следователь, что это – липа, добытая у несчастного, бесправного, затоптанного в кровавых подвалах. Но не мог следователь опровергнуть «Дело». Чуть «накренил» – вылетел из грозного кабинета сам. Да «крен», любой, – тюрьма или пуля, Васильев обречен.

Как-то я приехал в Омск на праздник зимы. И удивил меня разговор о Павле Васильеве молодых поэтов. Мол, он не выдержал, мол, он «раскололся». Нельзя, мы с вами не имеем морального разрешения на такие бессовестные, на такие безответственные и дебильно-самонадеянные заключения.

Великий русский поэт Павел Васильев «признался», как «признался» перед фашистами татарский поэт, великий поэт Муса Джалиль, как «признался» русский генерал Карбышев: умылся кровью, потерял на мгновение материнский свет, уронил на мгновение материнский голос и остро услышал запах пули, дух нацистского свинца. Такое пережили Александр Матросов и Зоя Космодемьянская.

Такое – пережили Клюев, Клычков, Наседкин, Забелин, Приблудный, Марков, Карпов, все, кто втоптан в кровавые подвалы нацистов пьяными лилипутами эпохи Октября...

Нет! Ни за что
Не вернусь назад,
Спи спокойно, моя дорогая.

Ночь,
И матери наши спят,
И высоко над ними стоят
Звезды, от горестей оберегая.
Но сыновья
Умней и хитрей,
Слушают трубы
Любви и боя,
В покое оставив
Матерей,
Споры решают
Между собою.

Кому нужна свара? Дерутся – Сталин, Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Раковский, Рыков, Молотов, Каганович, Ежов, Ворошилов, а поэт тут при чем, при чем тут писатели? Но подвальная свора видит в Наседкине последователя Бухарина, в Карпове – последователя Зиновьева, даже в сынишке Есенина – врага видит...

Одни пьяные лилипуты – мстят, другие – сионистствуют, третьи – холуйствуют, «защищают великих», повышаясь в чине, и все – на слезах, на безымянных, запрещенных могилках несчастных! Следов, указывающих на изуверства следователей, не найти, кроме бумаги, кроме слова, но слово – бессмертно, слово – неумирающий свидетель. Поделков много поведал мне о Павле.

Сталкивали и сталкивают лбами – русских и евреев, евреев и русских, сталкивают лбами другие народы. А кто сталкивает? Те, кому выгодно сталкивать, торча нагло и незаконно на трибуне Мавзолея, торча нагло и примитивно на стенах домов, институтов, заводов – портреты, портреты. И за каждым портретом – кровавый карлик или соцдержавный палач.

Злоба, фонтанирующая в Кремле, дотекла до низов – до рабочих, крестьян, учителей, врачей, литераторов, раздирая умы и души, ослепляя ненавистью и обвинениями взаимно, правоту и неправоту. А здесь годится – лексикон «демократов»: мол, русские – шовинисты, русские – антисемиты, русские – фашисты! Ну, кто фашист? Павел Васильев – фашист? Или Ягода – фашист? Или Ежов – фашист? Или Берия – фашист? Кто?.. В «Известиях» – Бухарин. В «Правде» – Мехлис. Как сейчас: в «Литгазете» – Бурлацкий. В «Огоньке» – Коротич.

Война между русскими и евреями начиналась у Троцкого в бесовских мозгах, устлала трупами Центральную Россию, Кубань и Сибирь, она, гражданская война, продолжалась в расстрельных подвалах бутырок, лубянок, Магадана. «Русская волна» – «еврейская волна». «Еврейская волна» – «русская волна».

Ленин – Троцкий. Сталин – Бухарин. Хрущев – Молотов. Брежнев – Шелепин. Горбачев – Ельцин. А между ними звенят и захлебываются потоки крови, потоки горя, потоки ни-

щих инвалидов труда и войны, потоки «усредненных» шахтеров, лесорубов, сеятелей, физиков, принужденных приноравливаться к очередному трюку «демократов и прорабов», «перестройщиков и вожаков» нашей измученной Родины, разбутевших от спецпайков и спецблаг.

Министр РСФСР Фильшин «махнул» авторучкой – 140 миллиардов рублей зашелестели в западную сторону. Руководители РСФСР, Ельцин и Силаев, «махнули» авторучками – триста миллиардов рублей зашелестели в западную сторону. Выскочил на экран главный торговец СССР Катушев, «махнул» авторучкой – 237 тонн золота, русского, поехало в западную сторону – за сосиски, лифчики, зеленый горошек и бритвенные помазки. Знаменитый Шеварднадзе «махнул» авторучкой – русские острова поплыли в пасть США...

А президент Горбачев «отсекает экстремистов справа и слева», но миллиарды рублей шелестят, золото едет, острова уплывают. К нам направляются «американские магнаты», вчерашние советские хриstopродавцы-диссиденты, Джон Росс, он же Зубок Ян Семенович, едут, слюнявя нас, обогащать и совершенствовать нас. Это 410? Кому надо это? Бушу? Хусейну? Шамиру? Ельцину? Горбачеву?

Западные союзные армии, под командованием генералов США, оккупировали Персидский залив. А мы, потеряв, почти «подарив» «соцстраны» им. Западу и США, радуемся уму Шеварднадзе и гению Горбачева...

Киевский еврей, беспартийно-беспаспортный, дважды судимый у нас за хищения и спекуляцию, – Президент компании «Ньютехнолоджиэндпродакшнитернэшнл» и «Америкэн лабораториес», компании-фабрики, на паях, поди, штампует презервативы, а лезет к нам в карман за миллиардами. Жулик надеется: русские мужчины и плохо питаюсь не подведут...

Не надо насаждать одних русских там, где не надо. Не надо насаждать одних евреев там, где не надо. Евреям пора выбрать территорию, коли дальневосточная не нравится, и построить себе благородную республику. Сколько же нам ссориться? Мы же не можем из СССР кроить арабский мир? Но шамиры угрожают Хусейнам, Хусейны угрожают шамирам. А буши сносят пол-Кувейта и пол-Ирака. А шамиры сидят в Иерусалиме в противогазах и детей держат в противогазах. Кому приятна такая тренировка?

А Павла Васильева пытается следователь Павловский. Поэт уже «чистосердечно подтверждает»:

«Однажды летом 1936 года мы с Макаровым сидели за столиком в ресторане. Он прямо спросил меня: «Пашка, а ты бы не струсил пойти на совершение террористического акта против Сталина?» Я был пьян и ухарски ответил: «Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духу хватит».

Приглядитесь, знаков препинания не хватает, они «грамотно» опущены. Ясно: это – следовательская стряпня, а не истина поэта.

Допрашивают – шьют поступки. Протоколят – шьют поступки. Заставляют под копирку переписывать «кровавое блюдо» – шьют поступки. Присовокупляют к «Делу» стихотворение, еще не сочиненное Васильевым, «Неистовый Джугашвили», «присовокупляют» эпитеты, определения: «Теперь я с ужасом вижу, что был на краю гибели и своим морально-бытовым разложением сделался хорошей приманкой для врагов, намеревающихся толкнуть меня на подлое дело убийства наших вождей».

Кровавая стряпня несколько раз «редактировалась», а потом текст бросался на машинку – окончательный. Но и тут – попадались, прокалывались... «Я подленько с готовностью ответил: «Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духу хватит».

Запятая появилась, появилось «подленько», которое переполнило нашу чашу терпения к «поэтическому словарю» следователей: «ухарски ответил», «на совершение террористического акта», «морально-бытовым разложением сделался хорошей приманкой»... Ну по-русски ли сказано? Нет. Сказано – через Одессу и на Ближний Восток, к Хусейну или к Шамиру...

Макаров книгу написал, на авторитет Бухарина «работал», деньги «принял» от Бухарина. Татарский поэт Ерикеев

анекдот про маршала Буденного «слышал» от Ровича. Подросток Юра Есенин «замышлял» стать террористом. Словом – «правая подпольная террористическая организация русских националистов, шовинистов, антисемитов», а «левая, интернациональная, демократическая», это – Павловский, он заставляет написать Карпова: «Свои контррев-е позиции я сохранил до самого последнего времени, утверждая, что позиция партии приводит страну к гибели»... И далее: «Нам на три дня установить фашизм, и мы вырезали бы всех евреев...» Мол, партия оторвалась от масс и не осуществляет интересов русского народа, делает подвальную казарму из России. Мол, власть в СССР принадлежит евреям. Соглашается, мол, я заявлял: «Скоро посадим Сталина на штыки, Троцкого вернем к власти». Ну где логика лжи? Где связь между планами, поступками и реальностью? Бранит евреев, ратуя за еврея на троне.

Да, троцкисты Троцким вышибали и уничтожали анти-троцкистов, а сталинисты Сталиным вышибали и уничтожали антисталинистов, иногда – параллельно, но, переkreщивая «пути» узников, палачи далеко брызгали кровью: от Москвы до Зайсана, до родного дома Павла Васильева, у китайской границы. А метод расправы брали в Кремле, у кормчих славного Октября: троцкисты, сталинисты, а поскребли мурло – сионисты, бешеные, привезенные в немецких вагонах «борцы».

И вот как выставили они один на один, против Сталина,

кумира и отца человечества, выставили золотоголового русского безвинного поэта – Павла Васильева:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(об окончании следствия)

1937 г. Июня 11 дня я оперуполномоченный Павловский рассмотрев следственное дело №11245, нашел.

Произведенным по делу следствием установлено что Васильев Павел Николаевич был завербован участником террористической группы Макаровым Иваном Ивановичем, для совершения террористического акта против Сталина. Васильев откровенно признал что дал согласие на это. Аналогичные показания дали обв. Макаров И. И., Карпов М. Я., Зырянов И. А на основании чего Васильев изобличается в преступлениях предусмотренных ст. 58 и 8 и 11 через ст. 39

Постановил.

Объявить обвиняемому об окончании следствия и ознакомить его со следственными материалами».

Верхняя подпись неразборчива. Нижняя подпись – Свикин. За подписью оперуполномоченного Свикина идет еле узнаваемый почерк Павла Васильева:

«Об окончании следствия мне объявлено по существу объявленного мне обвинения признаю себя виновным со следственными материалами: показаниями Макарова, Карпова ознакомлен».

Третья, последняя подпись, неразборчива.

П. Васильев.

11.VI-37

Внимательно просмотрев «логику» текстов, их «язык», их «грамматику», их «синтаксис», я их стремился уберечь в «первозданном виде», я без боязни «согрешить» уверяю: сержанты, лейтенанты, капитаны, следователи, оперы, начальники менялись, а заключенные, безвинные подвальные узники, нет. Не менялся и «составитель». По «Делу» Павла Васильева, если вы серьезно просмотрите хотя бы то, что я даю, поймете – «составитель» справок, допросов, обвинительных, протокольных «диалогов», персональных «признаний» у всех, повторяю, у всех – один. Мог – Павловский, мог – кто-то другой...

Весь 1936 год Павел Васильев ожидал ареста, поэт явно слышал шаги смерти, слышал голос рыдающей далекой матери:

Но вот наступает ночь, —
Когда
Была еще такая ж вторая,

Также умевшая
Звезды толочь?
Может быть, вспомню ее, умирая.
Да, это ночь!
Ночь!..
Спи, моя мама.
Также тебя —
Живу любя.
Видишь расщелины,
Волчьи ямы...

Ритмом, «действием» слова, «вторым смыслом» его, восклицательными знаками и точками – гляньте! – Павел Васильев предсказал свою судьбу до суда над ним, до расстрела. «Да, это ночь!» И – с новой силой в новой строке, сразу: «Ночь!..» И – опять с новой строки: «Спи, моя мама». После: «Также тебя – Живу любя». Идет: «Видишь расщелины. Волчьи ямы»... Да, волчьи ямы! Травля, гон зверя.

Удивительна глубина и гармоничность, покорность фразы, подчиненность информации, удивителен сам инструмент – творчество, культура таланта, трагизм пророчества Павла Васильева, поэта, последнего на русской земле – с таким широким размахом степным орлиных крыл, с такой бескрайней высотой духа, с такой пронзительной земною тревогой, достающей до космических звезд.

Павловский
Журбенко

ПРОТОКОЛ №...

подготовительного заседания военной коллегии
Верховного суда Союза ССР

14 июля 1937. Гор. Москва

Председатель Армвоенюрист В. В. Ульбрихт
Корвоенюрист Л. Я. Плавнек
Военный юрист I ранга Д. Я. Кандыбин
Военный юрист I ранга А. Ф. Костюшко
Зам прокурора СССР т. Рогинский

Определили:

1. С обвинительным заключением, утвержденным Рогинским, согласиться и дело принять к производству Военной коллегии Верховного суда СССР.
2. Предать суду Васильева П. Н. по ст. ст. 58 и 58—1 УК РСФСР.
3. Дело заслушать на закрытом судебном заседании без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей, в порядке закона 1 декабря 1934 г.
4. Мэру пресечения обвиняемому оставить прежнюю, т. е. содержание под стражей.

Как видим – ловушка захлопнулась. Золотоголовый орел, Стенька Разин – перед казнью. Свидетелей – не вызывать. Защиту – не вызывать. Да и обвиняемого-то вряд ли вызывали? Суд – закрытый.

Удар нанесен – в огромное сердце. Великий поэт не успел стать великим, «зверь» пойман. А вокруг его золотой, «льняной» головы расставлены «преступники-террористы» – Марков, Карпов, Сейфуллина, Новиков-Прибой, Зырянов, Марков, Есенин Юра, сын Сергея Александровича Есенина, Мартынов, Приблудный, Наседкин, Клычков, Ерикеев, Грон-ский, Забелин, Никифоров, Черноморцев, Клюев, да разве всех их, «преступников-террористов», русских выдающихся писателей – перечислить? Но главный «бандит-убийца» он, Павел Васильев, поскольку и недоумку ясно – великий русский поэт!..

За драку, за «шовинистическую рубашку-косоворотку», за Джека Алтаузена, за «оскорбление евреев», за «намерение убить» Сталина, за «прикасание» к груди восточной Зои Тимофеевны, завуча, за дружбу с Сергеем Поделковым, за уважение к матери – Глафире Матвеевне, отцу – Николаю Корниловичу, братишкам – Виктору, Льву, Борису, за любовь к молодости, женщине, красоте, мудрости, за гордую и дерзкую верность к России, а в общем – за признание великого поэта – гибель!..

Торопи коней, путь далеч,
Видно, вам, казаки, полечь.
Ой, хорунжий, идет беда,
У тебя жена молода,
На губах ее ягод сок,
В тонких жилках ее висок,
Сохранила ее рука
Запах теплого молока.

Руки матери, руки любимой, руки друзей, руки тоски, руки безвыходности, руки смерти – чувствует поэт, слышит поэт, видит поэт. Чует – в черном кровавом подвале. Слышит – в черном кровавом подвале. Видит – в черном кровавом подвале.

ПРОТОКОЛ

Закрытого судебного заседания выездной сессии
Военной коллегии Верховного суда Союза СССР

15 июля 1937. Город Москва

Виновным себя признает. Отвода составу суда не дает. Копия обвинительного заключения получена 14 июля 1937 г.
Подпись Павла Васильева – карандашом...

Приговор

15 июля 1937 г.

Приговорили к высшей мере – расстрелу:
Ульрих, Плавнек, Кандыбин, Костюшко

Какая торопливость? Какая поспешность? Подготовительное заседание суда палачи провели 14 июля, а 15 июля – решение, приговор.

У меня прочное мнение: палачи, малые и большие, трусили, верша казнь над поэтом, боялись – вдруг «закачается» под ними земля. Вдруг – «новый» Куйбышев, «новый» Молотов, «новый» Сталин догадаются о льющейся безвинной крови и защитят русского гения, защитят русских писателей, из честных душ которых они, кровавые карлики и убийцы русского народа, состряпали «доносчиков», «обвинителей» друг друга, мстя им за их дарования пытками, подлогами, избиениями, пулями.

Лирик, эпик, публицист, драматург – Павел Васильев, по словам Сергея Поделкова, рано освоил искусство, философию, накопленную человечеством. Его стихи – баллады. Его поэмы – романичны. Его повествования – быличны. Гусляр. Волхв.

Горе прошло по глазам ее тенью:
Может быть, думала что-то, тая.
Худо,
Когаа, позабыв

Про рождение,
Мать не целуют свою сыновья!
Мало ли что...

И всюду в его тоске, в его песне – любимая, брат, сестра, мать, отец. Родина и он – чувствующий погибель России, народа ее, свою погибель чувствующий!.. Так где она, его жестокость? Где его натурализм? Где его некультурность? Он – пророк. Он – заплатил за пророчества смертью. Он – расстрелян. Но расстрелян ли? Но был ли он на суде? Слышал ли приговор? Думаю – нет. Думаю – угроблен до приговора. Иначе – зачем – ворья спешка? Спешка – взломщиков. Спешка – дорожных пиратов.

Протоколы высших инстанций, высших судов, составляли грамотные палачи – и у них-то все точки, запятые, тире, буквы на месте, не как у рядовых пьяных лилипутов. Но в каждом документе – беззаконие, в каждом документе – разбой, в каждом документе – беззащитная русская трагедия.

20 Марта 1956.

Пом. Главного военного прокурора
подполковнику юстиции тов. Бирюкову

Сообщаем, что личное тюремное дело заключенного Васильева Павла Ник., 1910 г. р., не сохранилось, не представляется возможным также сообщить – когда и кем он вызывался на допрос, продолжительность допроса, – так как ар-

жив за 1937 год уничтожен.

Нач-к Бутырской тюрьмы УМВД полковник Калинин

Нач-к Канцелярии м. лейтенант

Чупятова

Почему на смертном приговоре поэт поставил свою подпись карандашом? И многие на смертных документах ставили свою подпись карандашом. Палачи боялись и могли, при случае, стереть? И сами – палачи, требуя «развернутых признаний», ставили свою подпись карандашом. Неточность, неразборчивость подписи, «увеличение» от инициалов – привычка негодяев, профессиональная их болезнь, страх перед грядущим.

Кто уничтожал архивы бесчисленных советских тюрем и лагерей? Кто уничтожал списки палачей? Кто уничтожал списки жертв? В опросах 1956 года указывается, что ни Павел Васильев, ни другие узники не признали себя виновными, по сути – указывается на произвол следователей. Ныне в КГБ мне помогли те, кто, как и мы с вами, тяжело переживает безвинную кровь людей, погубленных мафией свирепых грызунов, палачей XX века, палачей, не уступающих жестокостью фюрерским истопникам камер.

Избитый, измученный юноша, великий русский поэт, раздавленный каблуками палачей, карликов-изуверов, расстрелянный, как великий татарский поэт Муса Джалиль, да, юноша, измученный в неонацистских подвалах, ослепленный тьмою, потерявший любимую, потерявший мать, потеряв-

ший отца, потерявший братьев, потерявший Родину, Россию, о чем он, Павел Васильев, думал, о чем плакал?

На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходя дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорогого встретить как надо.

А как его надо – надо его весело:
Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,
Чтоб только полено в печи потрескивало,
А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы... Батюшки!
Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, – я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят тая, качая головами,
Подпершись в бока, на бородах снег.
«Ты зачем, бедовы, бедуешь с нами,
Нет ли нам помилования, человек?»

Я же им отвечу всей душой:
«Хорошо в стране нашей – нет ни грязи, ни сырости.
До того, ребятушки, хорошо!

моих партийных

книжек.

Сильно, видать, допекли аппаратные инквизиторы этого мамонта – Владимира Владимировича Маяковского. ЦКК, КПК, ЦКК – а на деле: партийная хунта, хранители и блюстители «образцов принципиальности» участвовали в кровавых преступлениях, в геноциде – над калмыками, чеченцами, татарами, украинцами, мордвою, чувашами, всеми, всеми, кто лежит в безымянных курганах, под номерами и без номеров, кто – мы, русские!..

Комитет партийного контроля, рудзутаки, москатовы, андреевы, эти шкирятовы, эти пельши, не встали, не заслонили ни одного из членов партии «участников подпольного заседания террористов» – святых, русских писателей, патриотов.

А чем они, ленинцы, сталинцы, хрущевцы, брежневцы, андроповцы, черненковы, горбачевцы, помогли нам, изнашивающим под прессом «демократов и прорабов» перестройки, навешивающих на нас ярлыки «антисемитов», «черносотенцев», «шовинистов», «правых консерваторов», «переворотчиков», «экстремистов», чем? Мы – «правые», как «правые» Павел Васильев и те, кого уничтожили «левые», мы – «консерваторы», а палачи – «стахановцы», да?

У Павла Васильева есть строки о наших днях:

– Что вы, ограбить меня хотите! —

Били в ладони,
Спор шелестел
Из-за коровьих розовых титек...
(Что вы, ограбить меня хотите!)
Из-за лошажьих
Рыжих мастей...

И – ограбили. И – расстреляли, сгноили, втоптали в советскую пыль крестьян – Васильевых, рабочих – Васильевых, ученых – Васильевых, втоптали дзержинские, ягоды, урлихты, межинские, ежовы, родзинские, берии, москатовы, вышинские, андреевы, шкирятовы, пельши и тысячи других «несгибаемых ленинцев», отдавших свою жизнь, всю, «капля по капле», партии, стране, обрызганной безвинною кровью тружеников.

Интересно, что бы делали и как бы мы дивились, если бы еврея повели на суд или повели в тюрьму за оскорбление русских? Но... Смешно – правда? Но не смешно – и сегодня нас, русских, одергивать, поучать, как нам себя уважать, как нам себя обустраивать?

Край обилен. Пониже, к пескам Чернолучья,
Столько птиц, что нету под нею песка,
И из каждой волны осетриные жабры да щучьи...

И чем больше ты выловишь – будет все гуще,

И чем больше убьешь – остальная жирней и нежней.

Но – истребили мы обилие. Но – истребили мы нежность. Арал – высох. Иртыш – отравлен. Енисей – погибает. Волга – в болота превращена. И – доброта пускается в ночные грабежи, в изуверство: палачам, облавным уркачам, «молодежь» подражает?

* * *

Более двадцати лет я рвался к «Делу» Павла Васильева, 30-лотового богатырского наследника поэзии Сергея Александровича Есенина. Я пытался «проникнуть» к Шелепину, но безрезультатно. И вот – последний порог.

Начальнику Управления
КГБ СССР по Москве и
Московской области
товарищу Прилукову В. М.

Уважаемый Виктор Михайлович!

Видя Вашу доброту и большую государственную работу по восстановлению имен безвинно уничтоженных людей, по возвращению их образов, их дел в нашу жизнь и опираясь на неоднократные замечательные отзывы о Вас, человеке глубококом, А. Г. Михайлова, я взялся за перо: обращаюсь к Вам за поддержкой, за помощью.

Много лет я занимаюсь творчеством выдающегося рус-

ского поэта Павла Николаевича Васильева. Это – самый русский, самый блистательный поэт, так трагически погибший – после М. Ю. Лермонтова... Это – высверк могучей природы великого народа, золотокрылый сокол! Душа моя плачет, когда я смотрю на его фотографию: умный, красивый, как витязь, верный и смелый, как Пересвет, одаренный, как Пушкин. Хочу рассказать о нем, не расплескивая кровь, не поучая, не судя огульно, а скорбя под временем и над судьбою юного богатыря слова. Пусть вместе со мною поскорбят и те, кто дорожит национальным правом – непреходящими качествами гениев отчей земли, дорожит трагической историей, страданиями и надеждами воскресающей России.

Павла Николаевича Васильева арестовали в Москве 6 февраля 1937 г., 15 июля объявили приговор, 16 июля расстреляли. По «Уголовному делу» Васильева расстрелян прозаик Михаил Яковлевич Карпов и старший сын С. А. Есенина Юрий, мальчик еще.

Хочу рассказать и о первом следователе, пытавшемся спасти поэта, но – расстрелянном.

Уважаемый Виктор Михайлович, благородный депутат России, руководитель Управления, в шкафах которого хранятся горькие документы, – разрешите мне ознакомиться с ними спокойно и подробно – для памяти, для пользы на будущее. Мой русский народ не лучше любого другого народа, но он – осиротелый народ... Мы, пока дышим, обязаны возвращать ему сыновей, даже из могил, сыновей, убранных

клеветой и предательством, жестокостью и ненавистью.

Желаю Вам в новом году отличного здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности!

Валентин Сорокин, поэт,
лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького,
секретарь СП РСФСР.

4 января 1991 г.

Русские, будьте самими собою, не давайте себя «переделывать», не давайте себя калечить чужою волей, чужими расистскими прихотями, стремитесь – к себе, стремитесь – к братству, как всегда вы стремились.

Русские, склоним головы перед жертвами, людьми, уничтоженными в черных расстрельных подвалах, склоним и проклянем сурнастых карликов, дикарей планеты, и послушаем еще пророчества Павла Васильева:

Я стою пред миром новым, руки
Опустив, страстей своих палач,
Не познавший песни и науки.
Позади – смятенье и разлуки,
Хрип отцовский, материнский плач.

Вот он – разбитый. Вот он – истоптанный, встает, золотоголовый, глаза широкие, озорные, летящие в синюю даль,

в синюю даль.

Я ничего не выверяю, ни дни арестов, ни даты гибели – шестого марта его взяли или седьмого, тринадцатого июля его ухлопали или пятнадцатого, какая разница? Я не искал «бугорок» Юрия Есенина – не найти. Следовательно, «пытавшийся спасти Павла», – Илюшенко, он дожил до пенсии. Имя садиста Андрея Свердлова я не обнаружил в «Деле» №11245, вырванные машинописные страницы заменены чернильными и – наоборот...

Не хочу, нет у меня «данных», нет у меня права обвинять в оброчных расстрельных казнях одних евреев, русские на службе у бронштейнов и Свердловых «не хуже», без русских малют, без русских, «приданных» сионистскому каравану, евреи ничего бы не сумели у нас захватить.

Не смогли бы интернациональные палачи осуществлять казни от имени партии, якобы защищая партию, на которую бессчетно «посягают антисоветчики», как честнейший поэт Павел Васильев. Странно, обидно, противно знать: партийная печать нередко смыкается с печатью, нашпигованной «ядом кураре», ведя против русского народа «антишовинистическую линию», а русского шовинизма нет: мы на пределе, вымирание началось еще в 1917 году. Не вымирание – уничтожение русских.

Замолкни и вслушайся в топот табунный, —
По стертым дорогам, по травмам сырым

«... мои братья-хасиды уничтожали православных гоев». Автор называет имена этих «братьев-хасидов»: Урицкий, Каменев, Зиновьев, Каганович, Мехлис, Ягода, Берия и другие. Далее он заявляет: «Славные сыны Израиля, Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, Мартов, Володарский, Литвинов, вошли в историю Израиля. Может быть, кто-нибудь из моих братьев спросит, что они сделали для Израиля? Я отвечу прямо: они непосредственно или посредственно старались уничтожить наибольших врагов – православных гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили вечную славу!»

На стр. 130 автор этой книги говорит: «Великий сын израильского народа Карл Маркс написал теорию коммунизма, которая применима только на гоях. Это не для Израиля... Это теория для успешного уничтожения гоев-христиан».

На стр. 119: «Каждый израильтянин, способствующий уничтожению гоев-христиан... совершает благо для Израиля».

На стр. 116: «Чистое и настоящее богоискательство возможно через Тору и Талмуд. Тора же присуща только евреям. Все же остальные двуногие создания, по образу Израиля, создавали и создают нечто примитивное, не особенно утешительные фетиши, и одним из таких фетишей является Христос».

Что им русский поэт Павел Васильев? Пролетарского «Прометея» – Маркса «ворочают и переключают», Христа

бесцеремонно «уценяют». Павел Васильев – жаворонок в сетях. Читайте «Тюмень литературную».

На стр. 326: «Нам не так опасны гои западной формы, или, как они себя называют, католики, по следующей причине. Они в своих канонических формах совершенно отклонились от упоминания Израиля, они даже упразднили внешний вид древних израильтян при исполнении своей обрядности, а восточные гои до сего времени держатся этого, и это наносит нам оскорбление. Другая причина в том, что лидер западных христиан-гоев официально объявил, что израильтяне не виновны в казни ихнего Христа, хотя это стоило мировому еврейству много денег, но все-таки мы добились своей цели». Хасиды опровергают «Возвращение»...

Добились цели там. Добились цели тут. Добились цели в наивном Сообществе мира... Доверчивость, гостеприимство – наказуемы. Сергей Залыгин отмечал в Павле Васильеве дружескую щедрость:

Я, Амре Айтаков, весел был,
Шел с верблюдом я в Караганды.
Шел с верблюдом я в Караганды,
Повстречался ветер мне в степи.
Я его не видел —
Только пыль,
Я его не слышал —
Только пыль

Прыгала, безглазая, в траве.

И подумал я, что умирать

С криком бесполезно. Все равно

После смерти будет Только пыль.

Ничего, —

Одна лишь только пыль

Будет прыгать, белая, в траве.

Среди казахов поэт – казах. Среди немцев – немец. Среди евреев – еврей. Прочитайте стихи, посвященные Евгению Стэнман:

Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Над ними

То же старое небо и тот же полет облаков.

Так прости, что я вспомнил твое позабытое имя

И проснулся от стука веселых Твоих каблучков.

Прочитайте «Акростих», посвященный Сергею Островскому, другу-сибиряку, где «шовинизм», «антисемитизм», где?

Ответь мне, почему давно

С тоской иртышской мы в разлуке?

Ты видишь мутное окно,

Рассвет в него ль не льет вино,

Он не протянет нам и руки.

Вино, которое века
Орлам перо и пух багрило...
Мы одиноки, как тоска
У тростникового аила.

Дружеская щедрость и – предчувствие, и предчувствие кровавой карусели, пыли, безглазой пыли, белой пыли.

Знаменитый сионист, доктор Исраэль Эльдар, в интервью «Еврейской газете» (1991, 26 февраля, №5) говорит:

«Я не за насильственную высылку и готов согласиться, чтобы арабы составляли 20 процентов населения, это меньшинство, с которым можно договориться». У, «меньшинство» – их «прибежище», колпак!..

Или: «Для нас представляло угрозу, что в кнессете 40 процентов депутатов могли быть арабы. Теперь положение меняется».

Или: «И я не говорю об уничтожении. К примеру, на Храмовой горе я бы не стрелял, я бы оцепил гору, задержал бы и выдворил всех без одного выстрела. То же в лагерях беженцев, в университетах или в бунтующей деревне. Закрывать, задержать и выдворить. У них выбор: либо жить здесь тихо и спокойно, как меньшинство, и решить проблему беженцев путем „переселения заново“, либо война, и они вынуждены будут бежать или их заставят бежать».

На моей на родине

Не все дороги пройдены.

Вся она высокою

Заросла осокою.

До чего нам, русским, да и не только русским, а представителям иных племен и народов несчастного нашего Отечества знакомы термины: «закрыть», «задержать», «выдворить», «меньшинство», «заставить», «бежать», «выставить», «уничтожить», «в лагерях», «беженец» и т. д. Как вчера – дзержинские, ягоды, менжинские, ежовы, берии, как сегодня – слепые от кровавой тошноты сионисты, свои и закордонные, воюют за великий Израиль – от Нила до Евфрата... Ишь – меньшинство?!

Павел Васильев муками поэта, зоркостью поэта предсказывал:

– Спи ты, мое дитяtko,
Маленький-мал.
Далеко отец твой
В снегах застрял,
Далеко-далешеньки,
Вдалеке,
Кровь у твою батюшки
На виске.
Спи ты, неразумное,
Засыпай,

Спи, дите казацкое,
Баю-бай.

Нас, русских, расказачивали, раскрестьянивали, нас, русских, арестовывали, допрашивали, выселяли, раскулачивали, судили, расстреливали чужие палачи, опирающиеся на «доморощенных» русских палачей, интернациональная банда – зарыла лучшую, наиболее здоровую, духовную и дисциплинированную часть русского народа.

На земле не было такого: не ликуешь, встречая Советы, не записываешься, улыбаясь от счастья, в колхоз, не хвалишь Троцкого, Свердлова, Ленина, Сталина – под пулю, как царскую нечисть, как саботажника?

А ныне: не лаешь на Советы, не выбегаешь, матерясь, из колхоза, не громишь коллективы предприятий, не хвалишь капитализм и США – враг перестройки. Железные негодяи.

Евгений Долматовский и Сергей Поделков выучили десятки молодых поэтов... Маргарита Алигер – занозистая демократка, жаящая «сталинистов» переделкинского местечкового региона. А Иосиф Уткин погиб. А Джека Алтаузена умыкнула гибель. Каганович не помог Мандельштаму, а Молотов – Васильеву. «Правда» смямлилась...

Я говорю «евреи» – не о еврейском народе, говорю «русские» – не о русском народе. Пусть «еврейско-русская сионо-демократическая мафия» прекратит терзать патриотов.

Свердлов ссунут с пьедестала. А Горбачев – первый немец. Фриц. Ельцин в ценах увяз. Шеварднадзе мелькает над пропастью пороха на Кавказе. Бурлацкий и Катушев стушевались... Коротич и Гангнус не вылазят из Америки, доят ее. Александр Яковлев милосердием прикрылся. У них, не русских, не мутит желудки от чужих сливок, полученных за русскую нищету и слезы.

Братьев Павла цапнуло тюрьмой, войной, смертью. Мать – смолкла в клевете и голоде. А ее мать, бабушка Павла Васильева, без гроба зарыта. Досок не нашлось. В одеяло завернули в разоренном гнезде. Раиса Максимовна ожерелья и перстни прячет, дачи и виллы изучает, загибая и гребя пальчиками, а бабушка Павла Васильева лежит, в одеяло завернутая и оскорбленная, и сурово спрашивает:

«Вы, русские и не русские нехристи, вы, русские и не русские предатели моей измученной Родины, зачем вы рассорили ее народы, навздували между ними государства и рубежи, залили огнем и страданием села и города? Прекратите ослеплять нас „еврейско-русской“ золой, вами взметенной, иуды, измазанные кровью невиноватых! Я умерла на Родине, а теперь я где? Опустите меня в гроб, скупщики и реализаторы золота и алмазов!»

Красивый и сильный, одних покоряя отвагой, других дразня дерзостью, он не вошел, а ворвался в поэзию, как влетел на разгоряченном коне. Дрожите, перестроечные шулеры, преемственные реквизиторы надежд и прорабы, мастера

гробов и безымянных могил?

Великие поэты – всегда пророки. Стремительный, ясный, яростный Павел Васильев прав:

Через пурги,
Средь полей проклятых,
Через ливни свинцовые,
Певшие горячо,
Борясь и страдая,
Прошли в бушлатах,
С пулеметными лентами через плечо.

Пусть многомиллионные могилы под звездными траурными обелисками с четырех сторон движутся в наши очи, пусть. А запрещенные холмики засекреченных узников, упрятанных палачами в расстрельные подвалы, горюнные холмики – за могилами, за обелисками тоже движутся в наши очи.

Мы, рожденные в черные годы торжества кровавых железных карликов эры Октября, сохраним совесть, сохраним память о безвинных, превращенных иудами в стон ветра.

Россия, мы – дети твои. Россия, мы – правда твоя. Россия, да не погаснет над твоею великой судьбою слово поэтов твоих!..

КРЕСТ ПОЭТА

1. Дьяволы

Сколько ливней, сколько гроз, сколько метелей прошумело над рязанским краем, над Россией, над огромной Родиной нашей! А слово твое, Сергей Есенин, горькое и высокое, светлое и неотступное, как багряная гроздь рябины, звенит и колыхается на великом холме народной нивы:

Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынут выржавленный гвоздь.

Только произнеси: «Сергей Есенин!» – хлынет Россия, Россия, Россия, могилы ее, пространства ее, курганы ее.

Сергей Есенин! – яблоня дышит, поезд гудит, мать, седеет зимы, святее смерти, у обочины стоит...

Сергей Есенин! – мы, русские люди, мы на своей отчей земле, мы будем ласкать любимых, рожать детей, тебя помнить, Сергей Есенин, нежный, мудрый, одинокий, как осенний месяц, вечный поэт мира.

Зачем так стонешь ты, Сергей Есенин?

Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Значит – душа попросила. Твоя, лебединая, снежная, как белый вихрь, затерянная в облаках и тучах жизни. Великий сын Вселенной, русский Христос, теперь я не сомневаюсь: ты видел, слышал, знал катящийся вал безвинной крови, горячий красный шторм, холм кровавый, на котором пылает багряная рябина горя и качается – от двадцатых лет до тридцатых лет, от сороковых годов до восьмидесятых годов, от Москвы и до Колымы, от Москвы и до Берлина, от Москвы и до Кабула.

Могилы, могилы, могилы. Обелиски, обелиски, обелиски. И курганы, курганы, курганы безымянных, бескрестовых, низких бугорков-вздохов северной мерзлоты, песков азиатской пустыни, и над каждым – мать, седеет зима, стоит, рязанская русская мать, Россия стоит, грозная, измученная, полурасстрелянная, кровью сыновей и дочерей своих заливая, но стоит, держится и в ночь говорит, в сегодня говорит, в завтра говорит:

«Да проклянет вас первый и последний колос на пашне, проклянет вас первая и последняя звезда в небе, честь моя проклянет, достоинство мое проклянет вас, блудословы, вас,

обещатели рая, вас, неутомимые палачи собственного народа, вас, душители белых лебедей русских, убийцы радости и веры, казнители церквей и колодцев, насильники красоты и молодости! Вы и Сергея Есенина не пощадили – Христа русского предали и на веревке распяли его. На веревке. Иуды.

Вы, гранитные хриstopродавцы века, нашу революцию превратили в свою революцию пайков, чинов, поликлиник, путешествий, особняков, бриллиантов, нетрезвых пророчеств, косноязычных речей и бездарных реформ, жутких лагерных дисциплин, торгашеских попыток умиротворения и стабилизации, и все это – на груди русского обманутого народа и народов, бросаемых вами в несчастные Карабахи, Сумгаиты, Оши, Тбилиси, Риги, Таллинны, Кишиневы, Сухуми.

На груди русского народа, приютившего под самой рубашкой, есенинской рубашкой, на Орловщине, Ярославщине, Смоленщине, в центре, на темени русской земли, на лесковско-фетовско-бунинско-толстовско-тургеневско-кутузовско-жуковском пятачке, турок-месхетинцев. Асам русский народ, изгоняемый, травимый, как осиротевший палестинец, как Христос, никем не защищен, и даже – беженец, отторгнут, оболган при замкнутых молчанием, сытых губах гранитных наших русских хриstopродавцев... Брошен в междоусобицы, свары трусами и негодьями времени.

Братские могилы в Трептов-парке шевелятся, солдаты переворачиваются в них. Убитые воскресают.

Не молчите, люди! Русские, объединяйтесь! Народ, не молчи! На нас еще надеются соседи, братья, истоптанные, как и мы, чугунной пятой кровавого бессердечья и лжи. Вчера расстреляли царских детей, сегодня сдергивают с пьедестала памятники своим кумирам. Качают бронзовое тело на тресе... Что это? Кто это? Не о них ли?

Что ж вы ругаетесь, дьяволы?

Разве я не сын страны?

Каждый из нас закладывал

За рюмку свои штаны!..

Действуя от имени партии – убили партию. Действуя от имени народа – предали народ.

Судьба настоящего поэта всегда тождественна судьбе его народа. Есенин «впереди» своего народа пережил то, что позже навязали народу. Есенин погиб – и русский народ сквозь кровь и стоны вырывается из этой черной бездны унижений, судов, тюрем, расстрелов и войн. Да, еще раз пусть будут они прокляты, кровавые карлики, вместе с тренерами их и организаторами! Во веки веков. Аминь.

Талант Сергея Есенина – доброта, сестра, брат, мать-Россия и все народы ее, тоскующие по красоте и покою:

Спит ковыль. Равнина дорогая.
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не волеет мне в грудь мою теплынь.

Мы неодолимы. Нерасторжимы наши золотые звенья уважений народа к народу, песни к песне. Земля наша великая, Россия наша родная, мы встаем, стирая с изуродованного лица безвинную кровь, встаем и слышим голоса канувших, убитых, голоса всех погибших за Родину, за Россию. Медленно встаем, но мы никому не отдали, не предали тебя, Сергей Есенин, Христос наш русский!

Сегодня многие политические таежники азартно делят «шкуру неубитого медведя» на вольные и независимые региональные княжества, пьяны от шумной бессовестной вакханалии, – да пресечет этот базар великий народ!

И пусть нам светит предупреждающе:

Русь, Русь! И сколько их таких,
Как в решето просеивающих плоть,
Из края в край в твоих просторах шляется?

И:

Я бродил по городам и селам,
Я искал тебя, где ты живешь,

Но со смехом, резвым и веселым,
Часто ты меня манила в рожь.

Вот, кажется, прикатил Сергей Есенин в родное Константиново, в отчий дом. Далеко – божественный мир столицы, ревнивый и злобный туман салонов, кафе, собраний. Русский видом и словом, он вызывал «специфическую» неприязнь к себе у пестрой, нигилистически настроенной публики, где космополитизм беспределен, где жажда денег и славы превышает понятия «друг», «брат», «мать», «Родина»... Вернулся к матери, к сестрам, к яблоням, к лугу:

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Вернулся, как высвободился, как прояснел и преобразился
добротой и светом юности.

* * *

Есть ли где еще такой «простецкий» народ, кроме нашего, русского, позволяющий на протяжении десятков лет «диспутировать»: пил или не пил его гениальный сын – поэт Сергей Есенин? И – более грустные «научные» дискуссии: сколько,

мало или много, пил? И – далее: когда – именно и с кем – именно? И – последнее: иссяк его талант или не иссяк?

Уроды. Глухие, горбатые, слепые. Уроды не от природы, а от безнравственной непогоды. Не слышат соловьиный огонь есе-нинской скорби по красоте, по солнцу, по земле и свету. Не замечают его физического атлетизма, его кудеснической освоенности в биографии жизни и в предначертанностях поколений. Не отличают дверного косяка от мирового горизонта. А ведь над мировым непроницаемым горизонтом задержался пророк со свечою. Ну как не увидеть ее?.. Какому не поклониться?

Настоящие физические калеки, глухие, горбатые, слепые – сказочно крепкие, музыкальные, стройные и зоркие существа... А эти – измятые камнями осьминоги, выплюнутые вечной стихией моря на мертвый песок. Защищать поэта перед ними – стучать тонким невестиным перстнем по грязному пятаку свиней, не достучаться...

Прилепился к есенинскому имени обветшалый «литврач» Свадковский и давай зубами скрипеть, мертвый песок пережевывать: Есенин пил, Есенин израсходовался, Есенин «ороговел» нетрезвостью позова к самоубийству. Есенин, – Свадковский еще уличит, – откалывал, мол, номера! А к чему все «очарование» медика поэзией? К тому – Есенин должен был повеситься...

Правильно. Есенин должен был повеситься, а Свадковский долго и назидательно жить, дабы долбить и в гробу

великого сына России? Какое ваше дело, сколько прожил и сколько выпил Есенин? Есенин оставил для нас богатство – не пропить, не пропеть, не проплакать, как, допустим, степь – века пластается и ковылями шумит! А вы? Куда вы?

И догадаться ли вам: такого уровня поэт, как Сергей Есенин, подаривший нам тома и тома червонных золотых слитков, слитков и поэм, мог умереть не в тридцать, а в двадцать, но оставил бы то, что Богом ему суждено оставить? Такого гигантского уровня поэт не мог ливнем не добежать до горизонта или громом не докатиться до моря, не мог. Умереть он мог, но оставить обязан был – тома и тома. И оставил:

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервые!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья, червь?

Неужели Свадковскому, ученому, неизвестно: жертвенность откровения, опрокидывающая преграды бунтарская налитость слова и не пьяный, а политический, русский гнев души – не признак депрессии? Ослабленный, растерянный, даже шепчущий исповедь священнику поэт – ни на минуту, ни на час, ни на день не парализован, и найдет он силы в себе для социального разинства, а разинство, и малое, – упор в будущее, а не петля:

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь, как-то дико и странно,
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Не надо Сергея Есенина, как лилипуты Гулливера, прикручивать идейными канатами к пыльно-цементной бороде Карла Маркса и травить – хватит. Трезвенник литврач и трезвенник литкомиссар – кастраты. Рюмка водки, выпитая Есениным, – рюмка русского горя, русской обвды, бьющей из-под расстрельной полы сионистской кожанки Троцкого, а рюмка водки, выпитая литврачом или литкомиссаром, – водка: закусить им охота...

Посмотрите, как мучаются нынешние поэты, переживая о растерзанной прорабами России, гении они или не гении, пусть, но – поэты, они за красоту и свободу, а не за убиение Родины. Так и Есенин: надеясь на революционное очищение, красоту и свободу, напоролся на чекистский штык сердцем. При чем тут пьянка и драки? Свечу из рук поэта выбили, а всовывают в руки ему кровавый нож.

И никогда не замазать на стенах деревянных русских изб

и на стенах русских каменных зданий огромные, с Курильские острова, пятна русской крови, их не удалось замазать ни вождям революции, ни вожакам развитого социализма, ни дьяволам-прорабам перестройки. Думы наши— кровь пращуров наших... А прорабы кровь человеческую гонят по артериям преданной ими страны. Повторяется эпоха Октября в России. Повторяется есенинская боль в действующем ныне живом русском поэте. Вот и опередил нас Есенин:

Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки —
Душу мою затыкать.

Конечно, литврач и литкомиссар использовали бы пробки по назначению: сдали бы в ларек, а тут – пьет, бандит, и пробками душу затыкает. От кого? Не от революции ли? Не от Ленина ли? От вас, от вас, кроты сырой мглы, чтобы вы не прогрызли дыры в сердце поэта, как в сердце народа. И хмель Сергея Есенина – его бессонная, осмысленная ненависть к палачам русского народа.

Рюрик Александрович Ивнев рассказывал:

«Сережа мало пил. Бывало, держит, держит рюмку и, подмигнув, украдкой выплеснет ее под стол.

– Почему, себя сохранял?..

– Нет, Сережа скоро настроение терял. Вредно ему весе-

литься...

– А говорят, много и часто пил?

– Завистники говорят! Выпьет и шум: «Я видала Есенина, пьяного!»... «Я видал Есенина, хмельного!»... И – поехало».

Рюрик Александрович имел право называть Сергея Есенина Сережей, друзья, не рядовые, а прочные и редкие.

«– Но буянил же Есенин?..

– А ты, а я не забуянем, если пристанут с хамством и клеветой? По клевете – суд за антисемитизм. По клевете – в каталажку. По клевете – внимания нет к нему. Бухарина нажужукали, а Бухарин – второй, за Лениным шел, за Троцким идет».

Есенин – крупнейший русский поэт. В антирусские годы провокации вокруг Есенина кипели, как лягушьи головки в болоте.

Рюрик Александрович вспоминал: «Да, выпимши, да, кол-готной убывал из дома Сережи, из Москвы в Ленинград. Заехал к Толстым на извозчике, быстро и нервно собрал нужные вещи:

– Еду, уезжаю, сейчас!.. – Сошел к извозчику, а в окно: – Сережа, до свидания! – А через паузу: – Брат, прощай!.. – И еще: – Прощай, брат!.. – Не могу»...

И – доказывал: «Тридцатого марта расстреляли его друга, Александра Ганина. Тридцатого июля Максим Горький послал Бухарину «присяжное» письмо о поэтах, защищающих русскую деревню, несправедливо и опасно ударил по Есени-

ну. Шестого сентября на поезде «Баку – Москва» Есенин «площадной бранью» одел Рога. И Рог направил в суд заявления, подтвержденное Левитом. На Есенина завели уголовное дело. Двадцать шестого ноября Есенин лег в больницу. Вышел из больницы двадцать первого декабря.

Побывав по издательским делам в редакциях, двадцать третьего декабря, вечером, Сережа выехал в Ленинград и двадцать четвертого приехал, а все тяжелейшие удары по нему – на конец года, тысяча девятьсот двадцать пятого!..»

Фраза Есенина «Меня хотят убить» Рюриком Александровичем интерпретировалась так: «Сережа пригнувает голову к подоконнику:

– Пули боюсь, камня боюсь!.. – В больнице...»

Бухарин не успел разразиться страшными обвинениями по Есенину, но травля началась на правительственном бачке. Помог бы Есенину Ленинград? Нет. Ленинград помог погибнуть. Появился Есенин в Ленинграде 24 декабря, а 28 декабря, рано утром, участковый надзиратель в «Англетере», Н. Гробов, составил акт.

Читаем как есть: «...шея была затянута не мертвой петлей, только с правой стороны шеи, лицо обращено к трубе, и кистью правой рукихватило за трубу, труп висел под самым потолком, и ноги были около 1 1/2 метра от пола. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, на ле-

вой руке на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную рубашку, черные носки и черные лакированные туфли».

А в акте медэксперта А. Г. Гиляровского – «над переносицей вдавленная борозда длиной четыре сантиметра и шириной полтора сантиметра». А позже «борозда» чудесно «превратилась» в ожог, исчез пиджак поэта, исчезли туфли, а признаки трагедии в «почетном» номере гостиницы затаились. И мы, рожденные «с опозданием» на десятилетия, давно седые, лишь начинаем кое-что узнавать и кое в чем прозревать.

Гибель величайшего русского поэта может быть доказана и тогда – в народе утверждена. Но пока она, эта русская национальная трагедия, несомненно, не доказана. И я, не специалист, не исследователь судьбы Сергея Есенина, «волен» лишь пользоваться собственными наитиями, но до определенной меры. Наития – не доказательство.

Мы никогда не должны забывать: Пушкин не застрелился, а застрелен, Лермонтов не застрелился, а застрелен. Гумилев расстрелян. Блок уничтожен. Почему не убрать Есенина и Маяковского? Дорога смерти накатана, действуй. И вообще: на Руси и в тридцать седьмом убивали самых талантливых, даже в областях – самых талантливых. Есть о чем задуматься?

Делая зарисовки в «Англетере» с мертвого поэта, художник Сварог запечатлел одежду Есенина «встрепанной»,

заметил на ней обилие ворсинок от ковра, распростертого на полу. Сварог подтверждает наличие пиджака и туфель, «аккуратно» исчезнувших. И художник считает, уповают некоторые: Есенин убит в номере гостиницы. Тело его через окно убийцы планировали вынести, со второго этажа опустить в кузов грузовика и замести следы на вещах и на предметах, бдительно «упорядочить» преступление. Но окно не открывалось настолько, насколько необходимо, и убийцы, торопясь, разыграли вариант повешения...

Есть свидетельства: нарушен был режимный заведенный лад. Нарушено распределение и последовательность расположения вещей, мебели, предметов, всего того, что есть – гостиничный номер. Высказываются предположения: произошла схватка. Есенина в Америке еще «произвели в спортсмены», он никогда не выглядел шоколадным пай-мальчиком, сильный и решительный.

* * *

Как годы летят? В юности я клятву дал: если выпущу книгу, стану поэтом, приеду в Константинове и поклонюсь дому Есенина. Приехал. Весна. Иду. Завернул в магазин. А в магазине – хлеб, соль и водка. Той весной Рязань окончательно «догнала и перегнала» Америку по молоку и мясу. Разорилась начисто. Областной лидер застрелился, Ларионов, жертва грудобойцов ЦК КПСС, а Хрущев обляял его по-

смертно. Кого лысый канительник не лаял?..

Купил я хлеба, соли, водки. Иду на усадьбу поэта. Старушка в цветастом платке, запон вышитый, за мной увязалась. Присели у дома. Дом – домик. Высунулся из земли. Веселый и грустный. Окошки в мир глядят. Огород – голый. Ничего. Только молодые яблони привстали – цветут. Я на старушку поглядываю. Старушка поглядывает на меня, опасливая, я и говорю:

– Страдалец!..

– А ниче, все мы как?..

– Самый честный, самый красивый!..

– Ить не честных-то не рожали! – пошевелилась на траве старушка.

– Обижали, мстили им!..

– Им ли разве, а все и мы тут!..

Выпили. Старушка повторно выпила, отказываясь и крестясь, третью попросила сурово: «Все мы честные и все страдаем. А он-то, ну, где он еще такой есть? На гармошке играет. Угощает. И – плачет... А за мной ухаживал – не культи-мульти, шустрая... Добрый. Любили его. А супруга Сидора являлась на пепле. Есенины дважды горели. Зола. А Сидора, расплетенная, на пепле. Золу перебирает и трет. Чужестранная, а своя!..»

Где теперь эта старушка? Не спросил, не записал, беспечный. Да и нужно ли фиксировать, уточнять, когда – вот он, домик поэта, глядит на тебя?

Мать поэта, поди, молоденькую девушку, старушку мою, за ягодами брала, письма Сергею Есенину с ней на почту посылала, но кануло их совместное попечение за Оку, за мгlistый век. Сестер Есенина помытарили, и дети поэта расправы не миновали. И ныне – тюрьмы отремонтированы: пожалуйста!.. Соль вздорожала, хлеб не укупишь, а водка – не прицениться, пропала.

А сестер Екатерине с лихвой «благодарностей» ссудила власть за брата и за мужа. Муж ее, поэт Василий Наседкин, схвачен за Есенина, а проступки приписать всякие разрешено, закона нет, совести у карателей нет: жми на карандаш.

Сидит она в камере. И ночью, так мне «воспроизвели», ночью, луна свидетель, – гулко разворачивают клепаную дверь и бросают на холодные каменные плиты окровавленную девчонку. Екатерина хоть и политическая арестантка и крупная шпионка, но душа-то в ней братова, обтерла девчонку, обогрела, наклонившись.

Познакомились – жена Бухарина. Того Бухарина, отравно-расстрельного, призывавшего казнить, казнить и казнить безвинный русский народ. Потерял неприкосновенность член Политбюро, угодил под пята чугунного самодержца, Генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Виссарионовича Сталина.

Не рой яму ближнему, сам в нее попадешь. Народ не дурак: поговорка, пословица ли – из правды. Девчонка, женился-то на ней Бухарин, на четырнадцатилетней сестренке сво-

ей последней непервой жены, в чем виновата? Глупа еще. А палачи – до жалости им?

Деревянные, оловянные, чугунные истуканы, завистники, браконьеры поплатились за поэта: никому не удалось избежать того или иного Божьего наказания, никому.

Жаль Есенина. Не дали ему жить. Да и дышать свободно не дали. И ему ли только? Когда Ленин, Свердлов, Троцкий, Дзержинский и другие вожди революции топтались вокруг заспиртованной головы царя, отрубленной палачами на Урале, не мог наблюдать этот кровавый концерт Сергей Есенин. А что мог народ? А что, получается, мог император? Помоллся – и бросил Россию...

Этот кровавый концерт, кровавый грех, мутит нас. Кровь царских детей, обрызгавшая ипатьевские подвалы, щедро пролилась по русской земле: Сергей Есенин был ею обожжен и обожжен сын его. Вслед Павлу Васильеву взяли Юрия. И расстреляли – вслед. В августе тридцать седьмого. Двадцать лет едва прожил парень, едва успел понять, чей он сын, едва успел стряхнуть с себя розовый туман детства. За отца – окровавили.

Обвинение Юрию Есенину – попытка создать организацию для терроризма: ликвидировать Сталина, Калинина, Кагановича и прочих ленинцев. То же «доказательство» – свинцовая пуля. Те же имена изуверов: Журбенко, Павловский, Кандыбин, Плавнек, Ежов, Рогинский, Костюшко, Климин, – все они испачканы кровью Павла Васильева.

Юрия Есенина арестовали в Хабаровске, солдата, из казармы швырнули в московские подвалы, в те, где сидел, ожидая пули, Павел Васильев... Нет русским людям пути, если они талантливы и прозорливы, нет!

Не исключено, слухи о расправе над царскими детьми, царем и царицей достигли и Сергея Есенина:

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...

Сегодня, по определению экспертов, от вождя – голова цела, «то», «что» он от царя в стеклянном сосуде заспиртовал. Голова. Голова – за голову... Сегодня в Мавзолей зазывают людей с Красной площади через рупор-матюгальник, а люди не торопятся к Ильичу.

Жизнь отрезвила нас. Да и правители, от Ленина до Горбачева, отрезвили: что ни обещание – ложь, что ни прогресс – глупость, что ни закон – кабала. У нас – ни земли, ни достатка, ни права.

Я не каюсь и не стыжусь собственных стихов о Ленине. Я начал изучать Ленина с букваря, а закончил курс вчера в Мавзолее и у Кремлевской стены. Шагаю. Очереди нет. По мере удлинения очереди за хлебом и молоком – очередь к Мавзолею сокращается и сокращается, не пересохнет ли?..

Шагаю. Около Мавзолея – милиционер. У дверей Мавзо-

лея – два солдата. За дверьми, внутри Мавзолея, – два солдата. На лестнице к гробу – два солдата и офицер, справа. И у тыльной стороны – два солдата и офицер. За выходом милиционер. Неэкономично.

Я – поражен. Милиционеры, солдаты, офицеры – как после бури: чуть печальны, чуть сутулы, чуть помяты. Черный мрамор ступеней, торжественный полумрак, державность покоя поколеблены: неужели гранитный Мавзолей непоправимо треснул?

И покойник – не великий человек? Притулился – маленький. Жалкий. И лоб – не огромный, обычный. И лампочка тускловатая. Вождь лежит – рыжий, плоско спеленутый. Страна, разрушаясь, спешит отринуть его и опровергнуть. Виновата? И мы, царь и народ, не без вины: куда катились? К Ягоде, к Ежову и к Берии?

А в Кремлевской стене и подле нее – инессы арманд, губельманы, куусинены, урицкие, шверники, пельши, то плитами, то бюстами, почему, за какие заслуги они здесь? Держава, нашпигованная ложью и смрадом, расползлась.

В ноздри Есенину пахнуло русской кровью, и распятая Россия замаячила перед ним, кресты, кресты, кресты, безвинные, безымянные, бесчисленные!.. Капитаны, с лысиной, как поднос, корабли, корабли – русская сказка изувечена и брошена на разграбление.

Художники – особые люди. Наметанность их взгляда и цепкость их ума неопровержимы. Значит, Сварог успел, рисуя погибшего поэта, уточнить для себя «поведение» окна: почему оно не раскрылось? Сварог принял на себя траурную глыбу ответственности, так? Сварог несколько часов провел около мертвого Сергея Есенина. А мы знаем: мертвые иногда говорят, как живые, если ты, живой, способен их слышать. А не желаешь слышать – пеняй на себя...

Следы сопротивления, бесспорные, Сварог заметил на пиджаке, а пиджак исчез. Туфли исчезли. Но обилие ковровых ворсинок? Допустим, поэт падал, лежал, даже встать не мог, пьяный, тогда как же он очутился на высоте отопительной трубы у потолка? И почему не зафиксировано медэкспертами «тяжелой дозы» алкоголя? А зафиксированная «доза» – не повод и для упоминания здесь... Тело, завернутое в ковер, в окно не просунули, а коридором нести побоялись?

Как же Есенин очутился на такой высоте? Эдуард Хлысталов, без нажима на «разоблачение», а продолжая выяснять и сравнивать, сопоставлять документы и донесенные до нас временем устные разгадки, осторожно предполагает: «Организаторы убийства Есенина прислали под видом врача провокатора, который определил, что смерть поэта наступила за 5—6 часов до обнаружения трупа, и выходило, что он погиб примерно около 5 часов утра 28 декабря 1925 года.

Однако тщательное исследование акта вскрытия тела по-

эта позволило современным судебно-медицинским экспертам определить, что тело в вертикальном положении находилось не менее 24 часов и смерть наступила (с учетом всех поправок) около 18 часов 27 декабря».

Хлысталов рассуждает: «Утром 28 декабря 1925 года по настойчивому требованию приятельницы Есенина – Е. Устиновой – был открыт номер пять, где четыре дня жил поэт. Открывал дверь комендант, сотрудник ОГПУ В. Назаров. Долго провозившись с замком, он повел себя странно: в номер не заглянул, не зашел, а повернулся и ушел от двери. Он поступил, как словно знал, что там Есенин мертв, и не хотел быть первым свидетелем.

Устинова и другой знакомый Есенина – В. Эрлих – вошли в номер гостиницы и увидели висящего в петле поэта. Они не оставили подробного описания, в каком месте и положении находился труп.

Присланный на место происшествия милиционер 2-го отделения милиции Н. Гробов составил акт, из которого также нельзя сделать однозначного вывода. Фотографирование места происшествия почему-то выполнял не криминалист, а портретист М. Напельбаум».

Хлысталов опытный, в прошлом – следователь по уголовным делам. Страдать излишними «фантазиями и наивностями» ему не полагается. Недавно престарелая, давшая о себе «сигнал» супруга коменданта гостиницы «Интернационал» (та же гостиница) Назарова, письменно подтвердила –

смерть Есенина произошла задень до официального обнаружения его трупа. Эдуард Хлысталов заключает: «Назаров, открывая дверь номера гостиницы утром 28 декабря, уже знал, что Есенин мертв».

Я и раньше считал, что к гибели Есенина как-то причастен поэт Вольф Эрлих, который уверял всех, что он видел живым поэта около десяти часов вечера 27 декабря и не остался у него ночевать только потому, что нужно было идти к врачу и на почту. Теперь мы знаем, что к врачу Эрлих утром не ходил, а заявился в компанию своих друзей, где и пробыл всю ночь, подтверждая свое алиби к гибели Есенина. Но мы теперь знаем еще одну важную деталь – Вольф Эрлих был тайным сотрудником ГПУ...

Конечно, Эрлих мог солгать Есенину, не желая остаться у него, мог пойти от Есенина в любую компанию, это – дело Эрлиха. Но красная завируха тех лет, аресты в домах и гостиницах, слежка за Есениным до расстрела Ганина, а уж после – рысьим зрачком, не велят нам экзальтированно уповать на случайность.

Наталья Сидорина, «обнаружив» Гиляровского около трупа Есенина, с ужасом «обнаружила» его и около трупа Фрунзе. Историчен... Случайность ли? Фрунзе и Есенин – случайные ли? Хотя ныне действующий эксперт Маслов придирчиво проанализировал акт Гиляровского и нашел: составленный акт – по нормативам и требованиям того времени. Но акт – лишь акт, бумага...

Наталья Сидорина сообщает: Троицкий, Ягода, ряд высокопоставленных чинов ОГПУ, не говоря уже о любимце партии, Бухарине, патологически ненавидели поэта, искали момента освободиться от него. Ленинград, перед приездом туда Есенина и в дни гибели поэта, посетила внушительная группа профессиональных палачей, так или иначе «прикоснувшихся» к трагедии.

Юрий Прокушев сдерживает эмоциональный пульс. Надеется на суровую правду следственно-медицинской воли. И не нам, есенинцам, между собою дразгу затевать. Истина неуничтожима. Обидно, если Эрлих и Бениславская – во врагах. Ведь они поданы многими и многими сенсационно: лебеди, разбившиеся о твердь, непостижима их верность Есенину!..

Смерть через повешение – ритуал масоно-сионистских карателей. Ныне только глупец или подлец не замечает, как часто русские патриоты, журналисты, поэты, общественные деятели оказываются в петле. Иногда разнообразят петлю «дорожное происшествие» и «сердечная недостаточность». Но люди призвания, люди политического накала и борения – не слабые люди, а целеустремленные и прочные.

Меня поражает стойкость русских поэтов, отсидевших погребальные сроки в лагерях и возвратившихся оттуда: ироничны, выносливы, грамотны школой народной беды, школой народной совести и национального самосознания, грамотны роковым течением жизни, ее тяжелой наукой – «обра-

зованием» безвинно приговоренных.

Но почему Бениславская пила? Я читал ее письма. Много писем – и от каждого веет запахом водки и прокуренного стола, оглушенного грозным весельем шизофренички, веет кладбищенским шумом славы, веет неспасимой болью покаяния и пригвожденной тоской одиночества. Троцко-свердловско-ягодковский клан ее себе «посвятил» и вывозил в крови? Не вынесла?

Но недокументированные домыслы опасны и осуждаемы. Моря безвинной крови, пролитые и взбудораженные шайкой убийц, ныне, растолкнув берега, гульнули по СССР, вламывая и смывая республики, круша гербы и переворачивая бронзовые памятники идиотам. А в тумане крови, во тьме взаимных претензий новые убийцы тучнеют, новые идиоты...

Торжествовал СССР – русских теснили. Разрушился СССР – русских теснят. Разрушают Россию – теснят русских. Вытопчут русских, кого душисть возьмутся? Не могут же звери не лакать крови. Русских им на семьдесят лет хватило. Интересно, насколько им остальных народов хватит?

Да и ничего не меняется у нас в освоении культурных и нравственных богатств: были в СССР – экран для нерусских и в России теперь – экран для нерусских. Экранная Нинэль уйдет – экранная Боннэр явится. Экранный Боровик уйдет – экранный Познер явится...

А русские в общей их неспособности еще и букву «р» правильно, гои, выговаривают, не картавят. Куда им, на радио или экран? Картавые нужны, картавые и нерусские. Русские хорошо слушают и смотрят: дисциплинированные и прилежные, как Познер.

Вот после скандала и бойни у телебашни в Останкино программы изменились, и в русскую пользу: русские песни хор орет в пять утра и в час дня, когда русские спят или кушают – пожалуйста, и Зыкина притопывает башмачком... А болтают: русским нет ходу?

Но, когда развязывают галстуки на американских рубашках бизнесмены, когда бизнесмены лежат на кушетках и курят гаванскую сигару, когда они, жаль, не выговорив букву «р», возвратятся из родного Израиля, или Неаполя, или же Рима, они – и смотреть им на Зыкину? Извините... Они тогда хотят видеть Поэнера, хотят слушать того, кто четко и ясно не выговаривает русскую букву «р»...

Гусь о гусе. И гуси – о гусях. Лебяжья стая. Балет.

Средь туманов сих
И цепных болот
Снится сгибший мне
Трудовой народ.
Слышу, голос мне
По ночам звенит,
Что на их костях

Лег тугой гранит.

И у Кремля гранит – на их костях. И Мавзолей – на русских костях. Стыдно – узнаем долго... Есенин... поэты... несчастная Россия...

Ничего нет горше и виноватее, чем видеть и чувствовать беспомощность родного народа, погибельную смуту Родины. Задумываешься о прошлом – там пытаешься кое-что понять и перенести эту каплю понимания на сегодняшнее столпотворение, сегодняшний разор и крах. Виноваты ли мы, русские? Виноваты.

В прошлом, вторгаясь в пределы Азии, удалялись и удалялись на ужасные расстояния от Москвы – рассеялись. Разрешили помыкать собою бородатым «копиям» Карла Маркса, пахнувшим помойной мокретью. Доверили – погорели. И в Афганистан гнали нас за погибелью. Чего нам там мерещилось: свобода, но для кого, для «учеников» Карла Маркса, чьи выbledки в зобах русское золото на Запад тащат?

Солдаты афганского призыва отказались быть доблестными. Их командиры приказывали им завоевывать безоружных, не шедших к нам с «контрой», не стучавшихся в наши дома. Надо – стрелять, ранить, убивать, пересиливать свою подчиненную слабость в одиноких оценках-догадках, надо находить оправдание личному преступлению, а это оборачивалось вопросами к офицерству, к правительству и к стране. Да, да, и к стране, и к нам.

Русских не примирить с невинной кровью. Своей много и невинно пролили. Пролили под пулями рыцарей Карла Маркса. Афганистан развернул гневных русских воинов на СССР. Солдаты – в оппозицию. Полковники – арестовывать руководителей. Грачев, министр обороны России, в августе 1991 года не откозырял Язову, а Руцкой, полковник, арестовал Янаева, Крючкова, Варенникова. А Громов? Слабировал.

Шапошников, нынешний Главковерх СНГ, готовился бомбить Кремль, если путч начнет удаваться их маршалу... В результате – СССР распался.-А сейчас: русские везде – гонимые, а бьют русских с помощью тех же чиновных афганских героев. Генерал Лебедь взмыл над ними, но и того они давят, унижают, запрещают ему говорить. А говорит он прекрасно, отважный витязь, не чета им, поступившим с Родиной, вверенной под их защиту, как с внезапным и выгодным для них калымом, но и его охмурят. Торг фонтанирует:

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

И:

«Ничего, я споткнулся о камень,

Это к заетраму все заживет».

А человека-то нет. Есть – копия, надоевшая и утлая. Есенин печально осознавал принудительную осторожность русских, рас-стрельный страх в них, подпавших под клановое иго. На кого надеяться? И безотказная «влюбленность» поэта в евреек, хотя они, проказницы и сирены, достойны, не есть ли попытка Есенина вырваться из петли, раскручиваемой Юровскими, вайне-рами, васбартами?

* * *

Едва опубликовал «День» мое стихотворение «Расстрел в Екатеринбурге», в «Литгазете» Ананьев, Гранин, Дементьев, Дедков, Евтушенко, Рождественский и примкнувший к ним В. Быков заявили: «Антисемитский стишок!..» Ну, «антисемитский», ну, «сионистское» заявление, а дальше? «Антисемиты»... «Сионисты»... Так? Заступись, Бог, не хотел я затронуть их национальное чувство!.. А они ничего не замечают: только «антисемитизм», слепцы.

Твардовский у нас, пожалуй, да Щипачев – не антисемиты: Твардовский – за «Стихи Есенина рассчитаны на десятиклассниц, на томных барышень...», а Щипачев – за «Все Злате посвящаю»... Вас. Федоров – антисемит. Ручьев – антисемит, Со-лженицын – антисемит, Астафьев – антисемит, но сейчас пока – наоборот: замешкались. Белов – антисемит,

Распутин – антисемит, Бондарев – антисемит. Тьфу! Кто же не антисемит? Боровик и Адамович.

Банда, расстреливая царя, царицу, царевен и царевича, перекочевала в Кремль, а из Кремля – в подвал бутырок, лубянок, соловков. Грызуны, перепилившие кривыми зубами соловьиное горло Сергею Есенину и России.

Потому: умирают, как исчезают, «ближневосточники» Иванов, Бегун, Евсеев, Кузьмич, а русские молчат. Не молчат те, черниченки и адамовичи, «косвенно» повинные в тюремной петле Осташвили, а русские – молчат... Ананьев романирует на русском, жена – на русском, дочь – на русском, и не доволен. Константин Устинович Черненко, сипя от изнеможения, приколол ему на лацкан Золотую Звезду соцгероя, а он, главный редактор «Октября» и депутат, дуется, антисемитов ищет.

А мой друг, Андрей Дементьев? При Брежневe – лежал на экране, ночевал в телестудии: страна его так «обожала» и ждала шедевры. При Андропове – лежал. При Горбачеве – лежал, заставляя нас аплодировать Беляеву и Севруку, величая их «большими» деятелями КПСС, Нинэль даже не могла его, Эзопа, выманить с экрана.

Заведуя идеологией ЦК ВЛКСМ, цензурил за «Молодой гвардией», а побег руководить в «Юность», в «Молодую гвардию» не пустили: слишком русский. Эх, Андрюша, Андрюша, не стоит тебе коллективно уязвлять нас антисемитизмом, не сионист же ты?

И соцгерой Гранин творит на русском. А ходит и «вынюхивает» среди русских антисемитов. И везет человеку: нюхнет – есть, нюхнет – есть, сажай, как Осташвили, гробь. Страна не доразграблена, не доразрушена, оккупируй и верши расправу над русским народом-антисемитом.

Скромнее всех Быков. Живет в Минске. Вдохновляется на русском. Не читал ни строчки моей, не знает меня, но осудил. Я его приметил. Брежнев в президиуме писательского съезда и В. Быков, оба увешаны медалями и орденами, ну до того счастливые, единоутробные, сидят и перемигиваются, сидят и перемигиваются, буфетно-бутербродные.

А Евтушенко, припорол из Израиля, подай ему антисемитов, ну что за причуды? Мало ему крови Осташвили? А Дедков? В журнале «Коммунист» навел порядок, теперь нас шлифует: неистовый Феликс... Вот Роберт Рождественский натужно подписал кляузу и не сообразил – зачем, а мог бы и не подписывать, глашатай эпохи Леонида Ильича Брежнева.

Юный Сергей Есенин был приглашен к императрице и ее дочерям. Был приглашен. Императрица как-то читала его стихи. Разволновалась. Удивилась нежности, яркости и участию природы в них. Удивилась. И вот – перед царицей юный Есенин. Голубоглазый, золотоволосый, как солнечный рязанский день в июле.

Царица подошла и ладонью чуть провела по его пылающей голове:

– Какой вы грустный!..

– Такова жизнь...

Имею ли я миг спутать Сергея Есенина – у царицы с Ис-айкой – у Нагибина? Имею ли я миг спутать тебя с ними, друг мой, Андрей Дементьев? Пусть я подмогнул подняться тебе на ноги, когда ты поскользнулся на мраморной лестнице в Георгиевском зале, где раньше перемигивались звездоносные Брежнев и Быков. Ты скакал открыть дверцу автомобиля – встречать Раису Максимовну. Пусть.

Брежнев, кумир твой, к тому времени исчерпался, обрыдл и забюстовел у Спасской... Ты к новому скакал – на новом съезде. Поскользнулся. Упал. Ты, мой друг, и тогда уже – глубоко пожилой и проницательный человек, не сам ли молдцевато вскочил, многократно награжденный за систематическое усердие? Но упал...

Твои лирические песни, особенно про русскую бабушку, не Татьяну ли Федоровну Есенину, танцующую, «ажю челюсти бренчат», доставляли редкое эстетическое наслаждение тебе и ЦК партии. Ты, Рождественский, Евтушенко – гомеры, околачивающиеся возле Беляева и Севрука, и выше: на трибуне Политбюро. И русская старуха, «бренчащая челюстями», – твое предсказание перестройки: поесть охота рабыне, а зубы ее цакают впустую у голых прилавков, а вы, прорабы, вы, «мозговой центр», кто – в Израиль, кто в Канаду, кто в Америку?

Неужели в Канаде кишат антисемиты, а сионистов, как

в России, среди вас нету? Да, русский может быть убийцей, татарин может, а сионист нет. Сионист может лишь тренькать на скрипке, потому и первый антисемит – Сергей Есенин.

Не кажется ли тебе, Андрей Дементьев, что быть истерзанным негодьями и проходимцами из партийно-сионистской банды, не иметь ни экрана, ни радио, ни «Литгазеты» под боком, не пользоваться пронырливой поддержкой за границей – гораздо достойнее, чем лизать Брежнева и последующих лидеров?

Забыл, как в Рязани, выдернув из брюк отутюженный женою платочек, ты вытер носки у башмаков секретаря ЦК ВЛКСМ? Да, русским – невыносимо, но вытереть носки шефских ботинок один ты ласково изловчился и не запил, не задепрессировал?.. Я хоть мультимиллиордершу Кристину Онассис «унизил»: возмутился, когда Гришин, Промыслов и Зимянин хамски вселили ее в мою квартиру, вышвырнув меня с детьми, а ты? Верещал желтыми костями и приседал, приседал, вытирая.

А как ты восторженно защищал Яковлева, Шеварднадзе, Горбачева, Попова, Ельцина, Гайдара, Мурашова? Где антирусское сборище – там ты, мой брат. Ты, матерый, надеешься: не просчитался? Просчитался. Русское слово утекло из твоего воображения и разложилось. Ты массажируешь его, как свою физиономию, но слово – не проститутка...

А кому ты в «Юности» верстал страницы под ерничание

над Есениным, кому? Не стыдно? Русский человек? Сколько ты улик произнес против нас, забыл? Почему ты редко лежишь на экране сегодня? Сигнали тебя, надоел? Или ты оскудел от лжи, подхалимничания и неприличностей? Стар и трафаретен?

Я мог бы подать в суд за «антисемитский стишок», но судебная псарня – занятие «апрелевцев». Смерть Осташвили – подтверждение их злодейств; Олег Попцов, телевождь России, и ты – блистательные шефы плюрализма. Не гоняйтесь за антисемитами, вы же – прорабы!..

А Сергей Есенин – жертва мафии. Да он ли один? Нет пока у нас защиты от оккупантов. Не суетись, Андрей, ты, брат мой, как маршал Брежнев – в сиянии и звоне наград. Ты загодя рванул из КПСС. Я горжусь тобою. Ты неуловимей беса... А Есенин?

«Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошнее переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу, ей-богу, не могу! Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу. Ведь и раньше, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть.

А теперь – теперь злое уныние находит на меня. Теперь, когда от революции остались только хрен да трубка, теперь, когда жмут руки тем, кого раньше расстреливали, стало ясно, что ты и я были и будем той сволочью, на которой можно

всех собак вешать. Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно: что ни к февральской, ни к октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь».

За два, за три года до гибели поэт отчетливо уяснил: революция принадлежит кому-то, но не народу, не сеятелю и кузнецу. А нам сейчас и вчерашнее десятилетие – рай, если сравнить его с перестроечным грабительским десятилетием, да и нельзя все перечеркнуть. Революция, скорбя нам, воскресала в нас, в подвиге, в труде народа, в страданиях и крови его.

Сон вижу: Россию затопило. По лону вод Ной ковчегом правит. Навстречу Алесь Адамович:

– Где русофилы?

– Русские под волнами, все!

– Я те покажу, все!.. – приструнил Ноя Адамович и заскреб, заскреб кривою ластой по океану...

– Какая опасная русалка! – вздрогнул Ной...

Мы почти ожили, почти зарубцевались раны и обиды наши, но предательство Горбачева с новой дьявольской жестокостью уничтожает Россию и ее страдающий народ. Горбачев – Черный человек, запеленгованный светом есенинским, как вражеский разбойный истребитель. Аварии, разломы кораблей, землетрясения, ядерные смерчи – Горбачев: природа не дала ему ни обаяния, ни ума, ни таланта. Народ презирал его. Дух покинул его, скользкого. Мысль его тупа и нахальна.

Я не за то, чтобы денно и ночью валить весь нынешний хлам, лить всю нынешнюю кровь, все нынешние слезы на Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, но я за то, что Горбачев – преступник и предатель космический... Он убедил меня: партия, страна – кровавая сцена, где разыгрываются бандитские спектакли «вождями» революции, их соратниками и холуями. Партия – мишень, да и народ – мишень для ока лидера, и куда он всадит пулю ему, в сердце или висок, – кто предугадает?..

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали.

Летят журавли над нами, журавли! И мертвенная зыбь колеблется за их крыльями.

2. Белая вьюга

Талант рождается один. Растет один. Творит один. И часто – воюет за призвание один. Но талант не одинокое существо. Талант – вещий инструмент в руках народа, которым он, народ, измеряет жизнь, себя и время. Все на родной земле – для таланта: прошлое, настоящее, будущее. Все для таланта: совесть, честь, правда:

Думы мои, думы! Боль в висках и в темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

И:

За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.

Слово Сергея Есенина – нравственный закон. Есенин в слове, как звезда в небе, звезда, рожденная атмосферой дали, высоты и глубины. Сергей Есенин, щемяще родной и справедливый, не мог быть холодным созерцателем. Не мог Сергей Есенин быть кривлякой-модником, не мог он быть и циником-ветрогоном.

Легко не ссориться. Легко не защищать. Легко иметь по-

кладистое поведение, веселое брюхо и оптимистический облик. Легко, но легко для неталантливого. Сытость и Есенин – вечные враги. Краснобайство и Есенин – вечные недруги. Нам просто принять:

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Сергей Есенин, что тебя, родной, так гнетет, так мучит?.. Тайна жизни, горе и радость, загадка смерти, любовь и ненависть: их никуда не денет поэт и сам от них никуда не спрячется.

И небольшие поля, на которых шумят березы, и холмы, уходящие в глубь вековую, и река, повитая синью, и облака, плывущие над землею, – все это близкое, свое, вечное. Имя этому – Родина, Отечество, Россия...

Лебединым криком и туманами отплакалась древняя Рязань, крестами и пожарами означились ее веси. На каждую травину – по ордынскому копыту, на каждый дом – по черному пепелищу. Но – выдюжила, выросла, ратная и былинная, дала миру славу, поставила ему богатыря Коловрата.

Не соловьиный перелив, не голос черемухи, а чистый, пронзительный, обжигающий зов человека услышали мы:

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.

И:

Тоскуют брошенные пашни,
И вянет, вянет лебеда.

Рязань!.. Мальчик, юноша, молодой поэт, он встречает октябрьскую встряску восторженно, как встречают долгожданную грозу, смахивающую с земли ржавую накипь:

Дай с нашей овсяной волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

Поэт и слово – все равно что роща и птицы. Глуха роща без птиц, неинтересна. Поэт без слова – улей без пчел. А слово – история. Слово – философия, натура народа. Нет плохих народов. Нет народов неискренних, неталантливых. Сергей Есенин искренен искренностью своего народа, талантлив его талантливостью.

Любовь народа к поэту Сергею Есенину есть истина, а не любопытство к его быту и биографии. Никому не нужен поэт-сирота, никому не нужен поэт-бродяга. И ни один на-

род не нужен поэту-сироте, поэту-бродяге. И ни одна чужая речь не пленит поэта, если он изменил своей. Слова-изменники – не слова. Поэты-изменники – не поэты.

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Недаром – из пепла и крови, из огня и дыма революции, как багряный клоч, как огненная рябина, вспыхнула, поднялась и затрепетала на ветру звонкая есенинская лира. Через свист мокрогубых шарманщиков, через пьяные нэпманские застолья, через гарцевитые фуражки и папахи, через личные смятения и драмы, травли и утраты – встает поэт, говорит поэт:

На заре, заре
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы сушили день.

Невозможно ныне ни одному литератору миновать крутые тропы гения. Невозможно. Расстояние между юностью и зрелостью, молодостью и мудростью, добром и злом – каменные скалы. По этим скалам, кровавая пальцы, пробирался

поэт, неся к пушкинским вершинам любовь и нежность. Он, Сергей Есенин, познал движение страсти и слова, испытал согласие духа и воли. Такие люди не часто приходят на землю, но остаются на ней навечно...

Впечатление – будто эти липкины, эти блюмкины, эти роги, эти левиты, эти бухарины, эти троцкие с двадцатых и тридцатых годов дремали, как замеченные снегом змеи, а теперь вот выползли и зашипели. Сосновский выполз...

Даже миротворец Юрий Нагибин не удержался: в журнале «Столица» пишет, хамя, хихикая, жалея, торжествуя: «Когда Исайка напялил парик, облачился в русскую одежду, натянул сапожки и ударил во струну во серебряную, Залман побледнел.

– Ты настоящий гой! Даже в лопатках холодно. Как перед погромом. – Исайка посмотрел на свое отражение в непросяхающей луже у порога шинка.

– Вылитый Сергей Есенин, когда его представляли русскому царю.

– Это что еще такое? – не понял Залман.

– Тоже воспоминание о будущем.

На предмет гигиены и для усвоения русских обычаев Исайка сходил в парную, где неумело, но старательно исхлестался веником и вышел оттуда розовый и помолодевший на десять лет.

Он оделся во все чистое, расчесал парик волосок к волоску, подпоясался шнурком с кистью и привесил к нему де-

ревянный гребень, без которого ни один русский не выйдет из дома, закинул за спину суму переметную с куском храмц-лаха, фаршированной щукой, шкварками, зеленым лучком и солью в тряпице, попрощался с дядей и тронулся в путь бодрым шагом блудного сына, чующего близость родного порога, подыгрывая себе на гусях и напевая: «Вдоль да по речке, речке по Казанке сизый селезень плывет».

Так беззубо-уродливый Исайка, начиненный еврейскими кушаниями, без коих Юрий Нагибин не Юрий Нагибин, сходит «на сцене» за русского гоя и даже за русского классика – поэта Сергея Есенина... Сейчас «мода» у сионистствующих ортодоксов рисовать неполноценных евреев и выдавать их за русских подвижников. Зачем бросать соплеменников на посмешище? Зачем оскорблять русских? Юмор? Ирония? Склочничество? Дряхлеющее паскудство.

А зависть какова? Сергею Есенину Богом дан не только великий талант, но и удивительный образ – нежный, красивый, вдохновенный, потому порхатая ненависть Нагибина к русскому облику вызывает не менее кондовую ненависть в иных читателях к Нагибину...

Владимир Дронов пишет из Химок: «Нагибин – бывший сталинский хорист. Но тогда, в „Трубке“, он выглядел, на обложке рассказа, ничего, чуть даже смазливо, как все они

по юности. А теперь печется – о пожрать и о пожрать. Типичный... Да и моська изменилась: зло полезло наружу. Без галстука – похож на старшего официанта в „Украине“ или на потомственного колбасника, лавочника!»

Зло – на зло. И к чему бы Нагибину тешиться ненавистью к русским? Родился, вырос под сенью русского языка, русской культуры, русского дружелюбия, а ненавидит. К старости «прошибла крышку» и зашипела кастрюля зависти? Я не считаю Нагибина смахивающим на колбасника-лавочника, нет, мне кажется, он смахивает на известного диссидента – Владимира Войновича. Похож гнойной ненавистью к русским: «Лапа, как известно, продукт диетический. Ни диабета, ни холестерина, ни солей, ни жировых отложений. При таком питании и мозг отлично работает, все время одну и ту же мысль вырабатывает: где бы чего поесть». И у Войновича – насчет пожрать...

И «перлы» эти в том же номере «Столицы», где восторгается Исайкой Нагибин. В том же номере журнала «отмывают», спешат спецы, затирая «постраничную истину» Марины Влади, тиражируют наркоманию Высоцкого: «Так умирал Высоцкий» – беседа с друзьями, с врачами...

Но я, например, (ЖЗ Марины Влади знал о пристрастии к «анашам» популярных бардов. Видел по их «вздрюченным» исполнениям, по голосу и жестам. Да и «намекать» к чему бы? Наркомания поразила миллионы людей, а не одних бардов на земле. К чему бы «героизировать» актера? Вы-

соцкий без «анаши» – Высоцкий.

Меня потрясло и другое откровение: уши, торчащие из многослужных рассказов о «бессребренике и бессребрениках, чихающих на богатство», но околачивающихся по долларovým пристанищам, «плюющих на славу», но добывающихся, даже для мертвых, «престижных» кладбищ: не дали Новодевичье, хотя вымогали через Брежнева и его Галину, вышли на Яноша Кадара, венгерское Мао, а не получилось. Кого-то не было дома, кто-то гостил где-то. Ваганьковское...

И вот – быстро сооружен душераздирающий памятник: Икар или узник? Крылья или верви? И – у ворот. Перед шагом, перед первым шагом за воротами – могила. Так натужно и назойливо похоронили чемпионку И. Воронину. Спорт.

Но Высоцкому ли это нужно? Это нужно – закадычникам, охмурялам и торгашам. Когда узаконивают «наверху» преступность, разрешают ей легализоваться в обществе, иметь вид на «грядущую порядочность». Так узаконивают эти же «сценические силы», эти же мафии – бездарную злобу, спекуляцию на темных страстях, узаконивают не искусство, а похоть под эрзацем искусства, развязный обман. А Высоцкий не обманывал...

Юрий Нагибин «похлопал», юбилейно выступая, по плечу Бунина, но не подрос, не сделался выше от лилипутского похлопывания, да и его читатель, из Химок, не переменял о нем своего мнения, грубиян.

Юрий Нагибин – симпатичный, скромный, русский, вернее, был русским, когда ему было выгодно, и сейчас он еще маленько русский: «похлопал» же он по плечу Бунина? Отважный, темпераментный балагур. Исайку тренирует, беззубого и дебильного, тренирует выскакивать, гримироваться под Есенина, ну и дает!

Надо беречь уважение к любому народу. А если я соглашусь, что Юрий Нагибин – «официант, колбасник и лавочник»? А Михаил Светлев похож на Бабу Ягу? Нельзя чудить. Мало ли исак в литературе, науке, культуре? Куда их гонит Нагибин еще?..

Солдаты, штурмом бравшие Перекоп, за Исайку, Троцко-го, не виноваты. Молодежь, разбившая палатки у Магнит-горы, за Исайку не виновата.

Я видел фотографию – насилие над Зоей Космодемьянской. Видел фотографию – убиение. Кто не содрогнется? Кто омрачит ее свет насмешкой? Зою Космодемьянскую, когда мы поумнеем, церковь канонизирует. И – не ошибется! Без грима...

А куда девать девушек и парней, ехавших на стройку, шедших в мартены, в шахты, в северные края – оживать? Куда, спрашиваю, их девать? В чем они виноваты?

В том, что отштампованный, бездарный правитель обещал им нормальную жизнь, но растоптал их надежды своими премиями, своими званиями, своими бессмысленными орденами, своими грабительскими программами, растоптал их

уважение к себе, к делу? Они за «верховного» Исайку не виноваты.

Да, Сергей Есенин поверил в революцию, но кровь, закипевшая на русских просторах, ошеломила поэта. А нам сейчас, нам в кого верить? В свежего кормчего? В съезд депутатов? В законы, роящиеся густо, густо, как мелкие кустарниковые комары на закате июльского солнца? Зудят и роятся, зудят и роятся. В Ельцина верить?..

Во что же верить? Но верить-то необходимо. Во что? Одна у меня теперь вера – мать-Россия! И я не стыжусь этой веры.

Как не стыжусь и той, уничтоженной с трибун упитанными марксистами-ленинцами и прорабами-демократами, свежими слугами, отдающими жизнь, как те, прежние, капля по капле, народу, всю, без остатка, – на роскошных дачах, в пузатых бронированных автомобилях, в кабинетах, преемственно икающих икрою. Не стыжусь. Вера – не долг, а соизмерение будущего с настоящим.

Пророчество поэта – угадывающий взгляд на свою судьбу, на судьбу своего поколения, на судьбу своего народа из тех буревых дней. Надо обладать гигантской концентрацией света – способностью обобщений на катастрофическом переломе, способностью из кипящего колдоворота событий выхватить на мгновение то, что еще лишь «брезжит», далеко, что еще лишь процеживается твоим ощущением:

Я покинул родимый дом,

Голубую оставил Русь.

«Я последний поэт деревни...», «Каждый сноп лежит, как желтый труп», «Словно хочет кого придушить руками крестов погост», «Здравствуй ты, моя черная гибель, Я навстречу к тебе выхожу!», «Как и ты—я, отвсюду гонимый, Среди железных врагов прохожу», «Как и ты—я всегда наготове, И хоть слышу победный рожок. Но отпробует вражеской крови Мой последний, смертный прыжок», «Я такой же, как вы, пропащий, Мне теперь не уйти назад», «Что-то всеми навек утрачено»...

И – драматичнее, драматичнее, фактовее, фактовее:

Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека.

«Ты Рассея моя... Рас... сея... Азиатская сторона!»
А «Рас... -сея...» – Рассея, имя девушки, женщины, бабушки рассеянной, так в деревнях называют неумех, забывчивых, доверчивых и надеющихся на чужую доброту, а вдруг – обман, вдруг – трагедия. И – Рось. И – Рассея, Россия наша, Русь.

«Были годы тяжелых бедствий, Годы буйных безумных сил», «Как в смирительную рубашку, Мы природу берем в бетон», «Прощай, Баку! Тебя я не увижу», «Не вернусь я в отчий дом», «Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя

липа? Липа вековая?», «В своей стране я словно иностранец»...

* * *

Пил Есенин? Пил. Запоем слезы русские пил. Пил запоем русскую нищету. И «погиб» не от водки, а от русской крови, пущенной из сердца русского народа троцкистами и ленинцами: что те, зачинатели, что эти, их ниспровергатели, одинаковые: жестокие, бездарные и чужие...

Есенин же, уверяю, пил гораздо реже и меньше тех и этих, кто выслеживал его, брал на карандаш, подсчитывал рюмки поэта... Где они, счетчики его жизни, его поступков и то-стов? Пыль. Смахнуло их время, и если бы они не таскались по закоулкам, не прятались за спиною поэта, не высовывались бы между поколениями, сексотя нам на Есенина, их никто бы никогда не заметил, не вспомнил о них.

Уверяю: Есенин пил русское горе, все восемь собственных томов он выпил, едва дожив до своего тридцатилетия!.. Почитаешь воспоминания о нем, даже тех, кто любил и понимал его, и видишь: каждый из них пишет свое «родноразовое» впечатление. А в году-то более трехсот дней, да и сознательное профессиональное движение поэта к мастерству и славе не год, а годы и годы. В них, в годах и годах, труд Есенина и труд.

Сегодня, когда кремлевские преступники тайно от нас

продали в Беринговом море нефтеносные русские острова, рассекли наш народ, миллионы и миллионы русских лишили семейного и отеческого очага, как не повернуться к Есенину, «нащупавшему» грядущую банду правителей, «прорабов и агентов влияния» – от Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и до Коротича, Евтушенко, Бурлацкого?

Сегодня Ленин, «подаривший» Финляндию и Польшу, Сегодня Хрущев, «подаривший» Порт-Артур и Крым, – робкие предтечи развала, а рыцари разгрома великой державы они: Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин, Кравчук, Шушкевич и т. д. Сегодня беспощадный Сталин – собиратель земель славянских, Мономах, объединитель...

Поэт – боль и предчувствия, предчувствия неотвратимой беды. Не ее ли мы пытаемся превозмочь и сегодня? «Дайте Родину мою!», «Откуда закатился он, Тебя встревоживший мятежник?», «Россия, сердцу милый край! Душа сжимается от боли. Уж сколько лет не слышит поле Петушьье пенье, песий лай», «А ночью выплывет луна. Ее не слопали собаки: Она была лишь не видна Из-за людской кровавой драки», «Я помню только то. Что мужики роптали, Бранились в черта, в Бога и в царя».

Сергей Есенин – в нас, в наших страданиях, как нам спасти пашню, крестьянство, русский дом? Поэт искал «корабль» судьбы России в стихах времени, «где каждой щепке, Словно кораблю» – простор. Но простор – буревой, простор – шторм и кровь. Шторм, срывающий националь-

ные, хозяйственно-порядковые, духовно-нравственные якоря. Есенинский простор – пахать, сеять и жать.

Впереди – чудовищные пожары, столпотворения в голодных городах и селах, истребления русских доносами, расправами, сталкивание их с «утопанных площадок», пускание их по ветру. И сам поэт – «на мушке»...

Охуливание Сергея Есенина – охуливание нас. Клевета на Сергея Есенина – клевета на нас. Ненависть к Сергею Есенину – ненависть к нам. Борьба за Сергея Есенина – борьба за русских, за русскую жизнь, за «корабль» судьбы России:

Родимая!

Ну как заснуть в метель?

В трубе так жалобно

И так протяжно стонет.

Захочешь лечь,

Но видишь не постель,

А узкий гроб

И что тебя хоронят.

Похоронщики Сергея Есенина – похоронщики русских. Они и «бригадиры» их – сытые и жестокие хриstopродавцы, лакеи подачек, исайки, мелкие, неуловимые и прожорливые.

Сидит Есенин на пляже в Америке. Дункан – с ним. Пожухлая, но активно сопротивляющаяся линияию Айседора. Встрепенется – юная. Земля и небо поладили – родили ее

под мерцание зари, и первый вздох ветра закружил ее и понес в танце: выросла в музыке и движениях.

А Сергею Есенину тошно. Холеные курортники. Холеные виллы. Холеные кушания. Песок – холеный. И ветер – холеный. Даже заря – холеная. Понурился. И золотые кудри рассыпались. Куда заехал? Кому нужен? О ком затосковал?

Америка посылает в Россию куртки, штаны, шапки... Россию – раскогтили: не пашет, не сеет, не жнет. Врагов народа сыщики обнаруживают на безбрежных просторах. Врагов – уйма, веси – непромеряемые ни колесом, ни прибором... Угля, железа, алмазов – гребни экскаваторами.

А время бежит. Спицы мелькают. Телега погромыхивает. Паровоз дымом разбрасывается по рязанским луговинам и взгоркам. Бежит время. День – в день. Ночь – в ночь. Тошно.

И слышит Есенин – не песок шуршит, не вода шумит, не Америка блаженствует, а Россия кричит: огненные пули свистят и листву на березах прошивают, а русская кровь у порога отцовского дома красным озером плещет. Домой – дрогнуло сердце. Домой – скорее.

Ну и вернулся бы домой. Да... По вечерам – совы молчат. Мыши замирают. Зарево полыхает над Окою, и ни песен, ни молитв. Церкви – взорваны. А по хуторам – обелиски. Дешевые, заржавленные. Вместо детей – обелиски. Вместо стариков – обелиски. Мы уничтожены. На пирамидках – имена, фамилии, а люди-то где? Люди – в братских курганах...

Вернулся Сергей Есенин – погибших считать, а их мать давно сосчитала и оплакала. И – вьюга белая ей помогла: воеет и снегом заметает – глухо.

Песок золотой. Жаркий. Виллы золотые. Браслеты и серьги из чистого золота. Золотая и бриллиантовая Америка нищим подает консервы и порошки... А за древним Константиново – звон топор? на белой вьюге скачет: мать поэта в лес за дровами пробилась, холодно.

Стук. Стук. Стук. Взмахивает топором бабушка Татьяна. Взмахивает. Взмах – год. Взмах – год. Бежит время. А над могилкой Сергея Есенина, сына ее голубоглазого, белая вьюга метет или Айседора в белом платье танцует?

А топор стучит. А в доме нетопленном – ледок в ведрах плавает. Лесник вдет. Грузный. Грозный. Чужой...

– Кто там?..

– Я...

– А, ты, ты, поэта кулацкая мать? Запрещаю!..

Зимой – дров не руби. Летом – траву не коси. И это мы – русские. Мы – богоизбранные. Мы – разинцы, суворовцы, мы, а не евреи, мы, а не сионисты, мы, позволившие помыкать нами, растаптывать нас каждому чиновническому каблуку!

А весной по рязанской земле – белые яблони качаются. И так они цветут, так они задыхаются и шелестят, веют порошей белою – Есенин с головою тонет, а мать и совсем не видать, и даже топора ее не слышно. Вьюга, белая вьюга, куда

он заехал, куда ты летишь?..

Бунину легче обижаться на Есенина, легче журить его за уступчивые кивки советской власти. Бунин – господин. Бунина поймали в Крыму революционные ретивцы, интернациональные сыщики – давай понужать, подталкивать на расстрел, едва спасся.

А Есенину кого журить? Утенок – выныривает так из лопухов речных. Жаворонок кувыркается – в синеве так. Лилия – из воды так выходит. Есенин! Есть на русской земле из-за чего схватиться и повраждовать с баскаками: безвинных казнят – молчи. Безвинные – срывай обиду на себе и на близком...

Советская власть-то не ночевала в России. Ее плакатами и транспарантами пересортили, а нам ими разум и очи заклеили. Советская власть – войны, войны, войны, советская власть – тюрьмы, тюрьмы, советская власть – расстрелы, расстрелы, ну где же советская власть?

Есенину хотелось видеть князя-объединителя, хозяина видеть хотелось, заступника России искал поэт в революции и вождя, а нашел?.. Нам ли «поправлять» и «наставлять» Есенина?

Бунин – истаивал, мучимый верностью к России, к народу ее, а Есенин – не выплыл, не вышагнул, не поднялся из слез, из крови: белая выюга помешала ему, белые яблони ладошки свели над ним.

Ныне невесты и жены будущих детей пугаются, нищета за-

хлебывает Россию, а правящие бандиты путешествуют, раздавая русские края. Внутри России и вокруг России народ расколот, оттащили область от области, предали и разбазарили. Есенин увидел это вчера. А мы – сегодня...

Каяться пора? Прощать пора? Молиться пора? Но разве Бог вызволит нас из ямы, откуда и мамонту, загнанному, не выскочить? Страшные – русские могилы. И в Москве – страшные. И в деревне – страшные. Разве мы уже умерли? Сын – отцова креста не находит, а внук – дедова не находит.

Нить порвана – нить продолжения рода. Монголы добрее были: рубили и сжигали дотла. А эти – память вышибли, душу выстудили и себя не удержали: рухнули со Спасской башни.

Беда. Стая ворон каркает. Старые могилы в туманах растворяются, а новые – вороны острым клювом перечеркивают. Родина запустынивается. Избы бельмастят. Есть ли еще где страна, на нашу Россию похожая?

* * *

Давеча прогрессивный марксист, а сию секунду банальный перевертыш А. Н. Яковлев мелкими, мелкими глазками завращал, завращал на экране и, академик, настоящий ленинец позавчерашний член Политбюро, закукожился: «Пугачевщина, разинщина, пролетарщина!» Утонченный европеец, инструктор Ярославского обкома, если читать его, анти-

коммуниста, биографию... Попосольствовал в Канаде – выгулился в персону важную. Из грязи да в князи.

Но великий Есенин не отвергал ни Разина, ни Пугачева, не отвергал их и Пушкин... А у Сергея Есенина тема русской вольницы, тема бунта, тема революции – борьбы за справедливость завершилась драматической поэмой «Пугачев». Завершилась Уралом. Урал, срединный утес Земли, волновал и раннего Есенина:

Но и тебе из синей шири
Пугливо кажется темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.

Москва, Рязань, Поволжье, Урал, Сибирь, Персия, Украина, Грузия – манили поэта. Синева просторов России и золотистость просторов Азии звали Сергея Есенина к раздумью, а древний Урал покачивал каменные крылья: одно – над Европой, другое – над Азией. В русском человеке укоренилось ощущение евразийца. А русская поэзия между двух великих материков красным солнышком восходит.

Есенин не виноват в том, что идеалы и цели исковеркали и распродали, силуэт революции окровавили и колымскими барачными лучинами вытемнили. А пакостить чиновничьими жидкими цэкашными опусами русское непокорство – трусливая смелость голя... Яковлев забыл «государя»

Пугачева, созданного Пушкиным? Злобный и наполитизированный, он, Яковлев, заранее пресмыкается перед «левой» оппозицией народного возмущения, заранее, заранее юлит, дрожко улавливая:

Запевай, как Стенька
Разин Утопил свою княжну.

И:

Ты ли, Русь, тропой-дорогой
Разметала ал наряд?

Сергей Есенин – как великий поэт – рожден революцией. И не только революцией. Все его стихи о природе, о любви, о юности – искры молнии, взлетевшей из мощного водоворота. Трагедии обожгли и очистили соловьев, возвысили мысль, укрепили и облагородили ее. Нежность и гнев, скорбь и мужество – удел поэта. Раздумья утяжелились. Приобрели особую окраску и суть многие грани единого чувства:

Руки милой – пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

И:

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты. Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ненависть его – разумна, доброта его – адресна. Жизнь и совесть – древнее революции. Русские поэты дороги поэта́м других народов личной встречей, дружбой вдохновенной, взаимностью забот. Сергей Есенин дорог национальной честностью, мудростью, достоинством русского слова и русской стати. Когда я думаю о прошлых временах Родины, я вижу Евпатия Коловрата и Андрея Рублева, Михаила Кутузова и Льва Толстого.

Когда я думаю о близких временах, я вижу Георгия Жукова и Сергея Есенина... Есть Есенин – я вижу: он – свет мой!

На космических орбитах, на дорогах, распарывающих барханы, звенит огонь есенинских строк. Этот огонь – символ. И чем дальше мы от поэта, тем явственней он перед нами. Сергей Есенин – пример приближения таланта из народных глубин к той логике пытливости, где Вселенная и Личность единятся:

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил

И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Ядерный век – век Есенина, ибо каждое мгновение поэта – крик о траве, о звезде, о человеке. И сам он – звезда, взошедшая над океаном бытия. Звезда большая и неугасимая. Есенин открыто декларировал:

Хочу я быть певцом
И гражданином...

Мы говорим привычно: стихотворение, поэма, автор. А что за этим? Судьбы. Судьбы не только самих сочинителей – судьбы поколений и держав. Поэт, если только он поэт, никогда не потеряется в суете эпохи, никогда и никому не позволит навязать себе чье-то мнение, тенденцию, поскольку поэт – один-единственный, кто в конечном-то счете за себя отвечает. Опыт поэта – муки поэта:

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист,
А теперь вот в родной обители

Даже слышно, как падает лист.

И ведь кто так говорит? Есенин!.. Есенин, кинувший
в толпу:

Я более всего
Весну люблю.
Люблю разлив...

И:

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклись,
Кем я жил – забыли про меня.

Думающий о страшных разломах того времени, о полях, иссеченных подковами конниц, о молодом крестьянине, оторванном от плуга и ввергнутом в «классовые сражения», Есенин, как сострадалец, не может осязать лишь «правоту дела Октября», не может. Он слышит кровь правоты и неправоты, пожар слышит.

За победным шумом красных замен поэт видит межу. А на ней встретились – враг с врагом? Брат с братом? Пожать руку друг другу над бездной века? Или снять голову друг с друга над этой же бездной века? Пропасть...

Мне порой стыдно читать: «Есенин – наш, советский. Есенина нельзя отделить от революции!...» Требуется ли доказывать? Если бы не революция, если бы не ее ураган, Есенин не создал бы такие могучие вещи, как «Русь уходящая», «Песнь о великом походе», «Гуляй-поле», «Поэма о 36», «Пугачев», «Анна Онегина», «Страна негодяев», «Черный человек» и многие опорные произведения.

Есенин не мог отклониться в сторону от событий. Соловьиная душа не способна эмигрировать. Она, душа, все вбирала в себя, весь ветер, жуткий и кровавый.

По уральским горным рекам после войны гнали золотистый сосновый лес русские заключенные. Мы, мальчишки, всюду натыкались на них: в палатках, в избах, на делянках и даже на сенокосах. Мы подсовывали им вареную картошку, махорку, а они нам хлеб. Колхозники в те времена хлеб видели только на корню... И трудно было определить: кто настоящий заключенный – заключенные или свободные колхозники, ведь ни у тех, ни у этих прав никаких не имелось, быт и в тюрьме и на свободе нищий.

Заключенные свободно, почти свободно, передвигались по определенной территории, колхозники – по своему району. И вот однажды у костров совершенно седой человек, лет сорока, мускулистый, голый по пояс и разутый, начал наизусть читать стихи Сергея Есенина, подшлепывая по утоптанной теплой земле то правой, то левой ступнею. А на каждой ступне накладка: «Ох, она и устала!»

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот.

И дальше, дальше, все большее и большее, все шире и шире, пронзительнее и пронзительнее звучали над рекою разрывающие сердце строки великого поэта. Я смотрел на грубые загорели ступни, «скользя» к лицу заключенного, нежному, глубокому, серьезному лицу. А потом, уже пробуя рифму на язык, я увидел самого Есенина: очень интеллигентный, увидел на портрете, сдержанно-вдохновенный, чуть затаивший в себе что-то чудесное, вечное.

Мелькнула мысль: «Он так пишет, как мы живем – горько, ясно и понятно. Вроде маминой молитвы – доступно, а очень интеллигентный, одет модно, в шляпе и кашне!»

И потом, с годами, свет русской природы и свет русской души слились в моем воображении в единый образ – в образ великого национального поэта, в образ Сергея Есенина. Я согласился радостно: да, он обязан был явиться золотоволосым, с грустной синевою очей, чуткий, статный, умный – пророк и врачеватель. Цветок, срезанный разбойным ножом палачей...

Есенин взял родной народ у разрушенного храма и через расстрелы, геноцид, предательство демагогов-вождей ввел

его в храм. Мы, русские, лечились есенинской душой, есенинской красотой и нежностью много десятков лет, строя, воюя, сидя у тюремного костра, как тот седой заключенный... Есенин неповторим!

И сегодня, объясняя трагическую гибель поэта, мы чаще и чаще употребляем вокруг него глиняно-лопатные слова: «удушье», «побои», «шрам», «желудок», «мозг» и т. д. и т. п. А поэт – красивый такой! Лоб, выющиеся золотые волосы, удивительная народная элегантность – достоинство, память и зоркость.

Будем осторожны. Красота неприкосновенна. А тайна трагедии, смерть поэта, не нам одним досталась, она досталась всему русскому народу, полуистребленному жестокостью планетарных негодяев... Мне кажется, полемика и обвинения между есенинцами есть то, чего мы не должны допустить. Поэт не матрешка, не семейная реликвия, и никто не имеет права присваивать имя Есенина своему дому или своей идее, включая и различные версии. Не смущай гения суетою.

И уподобляться гранитному лермонтоведу или бронзовому пушкиноведу – не стоит: классиков не переплюнешь, а себя осмеешь. Сидел же у тюремного костра заключенный, а на всю мою жизнь – Сократ!.. Да, а мы из-за пустяков нервничаем. Пореже надо вступать туда, где должны работать независимые специалисты, спешить не надо кричать о ранах, профессионалы лучше нас о том поведают.

Раздаются голоса: «Могилу вскрыть!..» Иногда, жуя папиросу, иногда, хлебая щи, поддерживают: «Вскрыть!..» Пусть вскрывают. А чью могилу еще не вскрывали? До гроба Петра I добрались. Ивана Грозного потревожили. В могиле Гоголя поковырялись заикающиеся нехристи. Вскроем, а там? И что? Что, спрашиваю, дальше? Более страшная тайна? Пакет с готовым ответом? Или – праха в ней нет?..

Красота неприкосновенна. А истина требует доказательств. Но если у людей сведущих соберутся неодолимые факты, почему же и не вскрыть могилу? А кто примет подобную акцию на личную ответственность? Значит – нет среди нас «правильных» и «неправильных», мы – близкие, свои...

Нельзя хватать куст цветущей черемухи, хватать веющую белыми лепестками яблоню за горло и трясти, трясти до полного осыпания: мол, изучу подробнее процесс угасания красоты, нельзя. Есенин очень красив.

* * *

Давайте соберемся – не навязывать «истину», а думать, как нам ее, эту трагическую долю поэта, понять и бережно «передать» народу. Не в упреках смысл. Не в охранных приязаниях на Есенина. Смысл – общий костер, около которого и несчастным заключенным было светло, а народу – мощно.

Золотые мои уральские сосны давно уплыли по горным

рекам, а золотые рязанские березы каждую осень летят в славянские дали. И небо синее, как русские очи поэта. Куда же деть такое? Ведь это не легче трагедии: летит и летит, это – лебединая Россия наша, песня, вот набегающая русой моросью, вот сияющая зарею, золотым подсолнухом Скифии...

Звени, звени, золотая Русь,
Волнуйся, неумный ветер!

Все еще впереди, даже Россия наша еще впереди!.. Пусть русофобствующим Коротичу и Евтушенко зарплатно в Америке, а нам, русским, и в Рязани неуютно: на тополе кукушка кукует, а в ослепшей избе старуха каменеет: сыновей ее в тюрьмах, на войнах ухлопали, а ее – извели изнутри, налогами по-высосали – и бросили.

Идти к Есенину – как плакать, к бабушке покинутой идти, к милой преданной России идти, проданной и оклеветанной.

Всех связали, всех вневолители,
С голоду хоть жри железо.
И течет заря над полем
С горла неба перерезанного.

Сколько их, пытающихся измять нашу совесть? Ох, мы и устали!.. Мы даже привыкли к их беспощадному натиску. Потому – перевернем их! И не тревожить бы урны и гробы

на Красной площади, да ведь покоя они нам не дадут: в центре жизни лежат, в центре России. Преступники. Но – Жуков?.. Но – Курчатов?.. Но – Гагарин?.. Но – Королев?..

Вчера стиснули меня, как железными клещами, зажали смертельно в очереди за водкой. Час держусь, два держусь, три выстаиваю, очередь и на метр не продвинулась: заклепала ее в дверях банда, человек пять-шесть снуют к продавцу и от продавца, выносят бутылки, чуть не связками, и в два-три раза дороже тут же продают, распивая частично.

Наторговались, одурели – наколотили морды приятель приятелю, а очередь, бешеная, их мат и драку заглатывает, тварь. А банда наглей и наглей – распоясалась. Закупорила ход. А в очереди-то люмпены: учителя, инженеры, врачи, рабочие, ученые – не коммерсанты же, привыкли и терпят. От кремлевской банды – терпи. От магазина – терпи. Директора, гладкого хряка, вытребовали:

– Мы люди, а с нами обращаются!..

– Вы люди? – брезгливо поморщился директор...

Водочная кабала. Не в храм – очередь. Не в библиотеку – очередь.

А по экрану забегали, забегали, как те, шустрые, по кухонной плите, законцертничали выдающиеся представители искусства, участники «симпозиумов и форумов», зоологические антисемиты:

Первый:

Россия! Сердцу милый кгай!

Второй:

Шестую часть земли
С названьем кгатким «Гусь»!..

Третий:

Спит ковыль. Гавнинадогоя!..

Четвертый:

Чегный человек,
Ты пгесквегный гость!..

Пятый

Ай да Питег-гад!..

Сами себя юдофобством начиняют, макаки цивилизованные, буквой «р» забавляются: на «г» меняют...

Питер-град, стало быть...

Шестой:

Гуси, гуси!..

Седьмой:

Га, га, га!..

Восьмой:

Есть хотите?..

Девятый:

Да, да, да!..

Гостящие тараканы. Черные, черные. Дьяволы студий. У нас – «равнина дорогая», у них «гавнина догогая»... Упражняются на окартавливании классики. Подотдел КВН? И «Русь» у них – «Гусь». Изобрести хохму и ею ужалить евреев – мания дегенератов...

А их ученые? А их комиссары? Переименовывать русские деревни и города уходились, а за русскую речь схватились: вместо «зайцы и огурцы» – «зайцы и огурци», вместо «ё» – «е»... Точки им ставить над «ё» некогда или на чернила дефицит?

Но «зайцив и огурцив» русские не пропустили, отбились, а на «е», без точек, согласились. Ставя мысленно две точки над «е» в первом слове, а во втором слове две точки над «е» снимаем и читаем: вместо «сёл» – «сел», «мёл» – «мел», «перёд» – «перед», вместо «нёбо» – «небо», «объём» – «объем», вместо «берёт» – «берет», «всё же» – «все же», вместо «слёз» – «слез», «поёт» – «поет», вместо «вёдро» – «ведро», «минет» – «минет», вместо «чёрт» – «черт», «берёг» – «берег» и т. д. Хохмачи?..

Да, «приём» – «прием», а «слёг» – «слег», «осёл» –

«осел», и поговорка «хлебал, хлебал и хлебом подавился» – «хлебал, хлебал и хлебом подавился», – не подпорчена ли? Русское слово изувечено. А есенинская звукопись публично опошлена. Неужели охочмят:

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали,
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.

Чтобы овладеть «нотными» тайнами слова, надо в нем, в слове, зародиться, напеть и, как свет сквозь деревья, проникнув через напластования тьмы, хлынуть, от края и до края, и ширь заполнить! Не отдавайте косоротым речь русскую...

Мне нравится запах травы, холодом подоженной,
И сентябрьского пистолета протяжный свист.
Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать
Мудрости своей звериной,
Чтобы смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.

...

Я значенье свое разгадал...

Сергей Есенин часто – в раздумье, часто сверяет прожитый день с давно отзвеневшим днем, словно боится: не перекусила бы чья-то зависть нежный и едва колеблемый жизнью звук, ощущение связи с теми, чьи тени витают над нами, охраняя нас от неопределенности и ожесточения в себе и в народе.

Чья зависть? Чьи тени? «Я значенье свое разгадал» – оклик пращура ныне, а завтра – звездный ум, сторожный и необъятный. И в звере – зверь угомоняется; не щипай, не прижигай ему пятки. Есенин «бузотерил» на чужбине, а в атлантической Америке подавно: «Боже мой, лучше бы есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре „железа и электричества“ здесь у каждого полтора фунта грязи в носу».

Унижение русских в газетах, с экрана, со сцены, с трибуны не добавило перестройщикам успеха, а русские «заштопорили» мельтешащих теленасекомых. В редакциях они копошатся, в Останкинской башне спуют, а в русскую светелку наведаться – горбы Им помеха...

Не чернец беседует с Господом в затворе —
Царь московский антихриста вызывает:
«Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,
Новгород мне вольный ног не лобызает!»

Вылез из запечья сатана гадюкой,
В пучеглазых бельмах исчаведье ада.
«Побожися душу выдать порукой,
Иначе не будет с Новгородом слада!»

Не будет с нами, русскими, у антихристов слада. Душа русская – одна. И Россия – одна. И русский – один. Другого – нет. Сергей Есенин не поучает нас и не укоряет, надеется – мы сами очнемся. Белая метель шумит. Белая выюга плачет. А белая яблоня стонет...

3. Крест поэта

Такой поэт, как Сергей Есенин, в смерти Родины видел смерть своей философии, своего мира, видел свою собственную смерть:

И вновь вернулся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Страстно угнетаясь и страстно радуясь, Есенин помогал, точнее, хотел помочь новому дню России. Он ведь не Бурлюк, весело убежавший в Нью-Йорк, не Шершеневич, «престижно» заявивший, что он – «последняя трещина, которую заливают прогресс».

Из боли и крови, из пепла и слез Есенин выходил к людям, к жизни, к земле, желая ей, родной и любимой, покоя и труда. Объяснить творчество Сергея Есенина – объяснить нас, нашу русскую душу. Как объяснить колдовство, действо?

Полевое степное «ку-гу».
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

И на какой другой язык можно перевести, без потерь, вот это чудо?

Не надо, да и смешно, оракул, скакать на есенинском пегасе и думать, будто ты первый указал на гражданскую волю поэта. Указали на его гражданскую доблесть те прихвостни и проходимцы, которые травили его и мучили. Говори о них, о них говори, а в Есенине мы и сами разберемся!..

И если ты восторгаешься отвагой и честью певца, то что же ты стоишь сегодня сам, забывая, что эта отвага и честь так тебе нужны?

Дар поэта – ласкать и корябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черной жабой
Я хотел на земле повенчать.

Это – не желание нравиться всем. Это – суть бессонниц поэта. Это – огонь. Из него прорастает дар, волшебный, как цветок папоротника.

Опять звенит во мне: «Полевое степное „ку-гу“ ...»

Я вижу легкий заморозок на земле. Трава луговая – в инее. Лес – голый и печальный. Облака – серые, холодные. Холмы небольшие. Даль. Река. Шорохи. Звуки. Осень. Осень, напоминающая собой весну. Или это весна, где тот же иней на прошлогодней траве, тот же вечер, те же облака?

Что за звук «ку-гу»? Оклик души? Кукушка? А голубая осина? Горькое дерево...

И – редкие кудри сына. Редкие. А ведь были густыми, густыми:

Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.

Поэту удалось запечатлеть молодость – в ее увядании, природу – в ее грусти, а человека – в его трагедии. Есенин – во всем Есенин. Живой, искренний, обжигающий.

Шестнадцать лет он вышел из дому и через четырнадцать лет вошел в бессмертие. Четырнадцать лет. У нас теперь иной – четырнадцать лет пишет одну скучную поэму, а то и дольше. А туг – сотни стихов, десятки поэм. Рассказы. Статьи. И все – за четырнадцать лет!..

Софья Виноградская: «И однажды его, сонного, осыпали васильками. На подушке залитая солнечными лучами, утопая в васильках, обрамленная воротом шелковой рубашки лежала чудесная золотая голова. Он проснулся, синие васильки глянули из его глаз, солнце и васильки веселили его, радовали. И он неугомонно ходил по квартире, говорил, шутил, смеялся, был необычайно ласков и нежен со всеми. Нежность, ласковость! – в нем этого было так много». Много – и в душе Софьи Виноградской: васильками говорит о поэте.

Надежда Вольпин: «Он прочел мне два новых стихотворения – оба написаны здесь, в больнице. Сперва «Вечер черные брови насолил». Дочитал. Я повторяю на память:

Слушать песню дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек!

Обсуждать не хочу. Но Есенину требуется критика. Я заметила, что зря он ломает язык ради рифмы: «насолил – пропил». Можно оставить обычное «наступил» – и дать диссонансную рифму. Сама я нередко так делаю». Глухота и бесчувствие к русскому языку у нее? Нет. Комолая самоуверенность в русском психологическом пейзаже...

Галина Бениславская: «Прощает Есенин Дункан. Заботится о его стихах. Терпит Вольпин. А Дункан уворовывает Есенина. Зинаида Райх к Мейерхольду потянулась. А в Персии – Шаганэ... И Татьяна Толстая, счастливая, уезжает к морю с мужем, но „скучно“ поэту и – страна задыхается в жестокостях новых строителей равенства».

И есть еще – не васильковая, а луговая, травяная, березовая, молчаливая, как вечная русская земля, душа есть – Анна Изряднова: «В сентябре 1925 года пришел с большим свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

– У тебя есть печь?

– Печь, что ли, что хочешь?

– Нет, мне надо сжечь».

Есенин уже слышал – ползут по следу грызуны. Только он не знал и она не знала: и сына их учтут...

Детей Есенина не пощадили, могли разве они пощадить отца? Есенин для них, ненавидящих нас, для них, ненавидящих Россию, Есенин – василек на солнечном поле. Не могли они пощадить поэта!

И все тленно: вскроем могилку, а в ней – нет его... Все тленно, когда страна попорана изменниками и убийцами, разорвана на куски русская земля, а русский народ, охваченный смятением и пламенем недоброжелательства, спровоцированного негодьями, пока не осознал навалившуюся беду. Начинает осознавать. Начинает, а провокаторы вздрагивают: правда по их когтистым следам движется, прозрение, свет русский...

Галина Бениславская из пистолетика застрелилась у креста Сергея Есенина: тайну скрывала страшную или разгадкой страшной тайны измучилась? Каково нам сегодня устанавливать и объяснять? И какой крен категоричности допускать?.. Айседора Дункан танцует – красная снежная пена битв летит с русских холмов. Танцует Дункан – русская бабушка побираться бредет, обворованная приватизаторами нового мирового порядка. Татьяна Федоровна Есенина бредет... Русскому – сиротливо на Руси:

«Я тебе в сотый раз говорю,

Что меня хотят убить!

Я, как зверь,

Чувствую это!...»

Почему же мы, русские, «археологически» терпеливы? И – терпеливы ли? Может – не терпение, а недомыслие? Может – не терпение, а неповоротливость? И, может, не терпение, а трусость? Но еще хуже, если – не терпение, а равнодушие, ведь равнодушие – смерть? Почему в гибели Пушкина виноват иностранец? Почему в гибели Лермонтова виноват выкрест?.. Почти иностранец. Почему Осип Брик присутствовал при расстреле Гумилева? Почему Зиновьев уничтожил Блока? Почему Ягода «процеживал» фразы Есенина? Почему Маяковский «не избежал» Агранова: русских палачей мало?

Сегодня любой народ – самостоятельное государство, любой язык – устав народа. И только русский народ – прежний шовинист. И только русский язык – имперское мышление. Безродинные твари, бесчувственные интернациональные роботизированные конвоиры над нами проволочную зону сплели. И караулят: как русский – так попался.

Стонал Есенин: «Что они, сговорились, что ли? Антисемит – антисемит! Ты – свидетель! Да у меня дети – евреи! Тогда что ж это значит? Тогда я и антигрузин тоже!...» Русские мешают.

Сидел же у костра заключенный. Кто он? И сын Есенина

мог у того костра сидеть, но не разрешили. Подвальная пуля тосковала о русской крови. Поцеловав царский висок, она из ипатьевского дома, хмельная и необузданная, шипящим библейским воском пролилась на русские просторы, ошпаривая цветы – золотоволосые головы...

«Молчи,
Они следят за мной,
Понимаешь,
Следят!»

И за нами – они следят, исайки... Неужели исайки лишь способны кроваво играть чью-то роль или извращать ее родоначальную суть, подделываясь и зубоскаля?

* * *

Один. Юный. Доверчивый. Шел и шел он за голосом слова. Шел через ненависть, через зависть бесталанных евнухов. Есенин действовал. Он прекрасно понимал: безделье поэта – первейший признак его внутренней нищеты. И неспроста строки Сергея Есенина так щемяще наполнены приглушенной скорбью великого смысла:

Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе...

В Есенине говорила юность, когда он начинал свой путь, желание красивого, непохожего, вечного. Помните у Блока?

Гаснут красные копыя заката...

Прицельный, грустный, сильный и мудрый Блок – так я представляю этот взгляд сквозь дымку истории России, сквозь половецкие дали. Щиты и копыя... А вот Есенин:

Гаснут красные крылья заката.

Мягче. Пластичнее. Живее. Ближе к траве, к полю, к солнышку. Но – от великого учителя, от великого, конечно, Блока, что делает еще выше и значительнее строки Есенина.

Соприкасаясь, обновляясь, – таков закон бытия, таков закон опыта жизни, такая естественная «формула» удачных поисков художника. Послушайте Пушкина, он обращается к няне:

Выпьем с горя, где же кружка,
Сердцу будет веселей!

У Есенина:

Опрокинутая кружка

Средь веселых не для нас,
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

И повтор:

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пой и пей, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Или у Лермонтова:

За жар души, растроченный в пустыне,
За все, за все, чем в жизни счастлив был!

А у Сергея Есенина:

Не жаль мне лет, растроченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Это – учеба у родных великих, учеба – школа, учеба – призвание. Это – освящение великого наследия прошлого, великой русской культуры. Это – национальное развитие...

Вот, например, у Ильи Эренбурга ничего похожего не встретишь:

В музеях плачут мраморные боги.
А люди плакать разучились. Всем
Немного совестно и как-то странно.
Завидую я только тем,
Кто умер на пороге
Земли обетованной.

Это не примешь, как вздох ветра, это «обетование» про себя по-русски не запоешь. Но прав, по-своему, Эренбург, прав!.. Афанасий Фет:

Белая береза
У моего окна.
Прихотью мороза
Разубрана она.

Есенин:

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

Опять оно – это удивительное обновление, эта удивительная свежесть, этот потрясающий интонационный и духовный рывок к жизни, к новизне.

И сам Сергей Есенин оказал огромное влияние на дальнейшую русскую поэзию. Если взять литературные вершины, то прямая линия от Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, безусловно, пойдет к Есенину. Наследник удивительного русского слова, Сергей Есенин, достойный продолжатель пушкинского полета русской речи.

Владимир Луговской, Александр Прокофьев, Михаил Исаковский, Александр Твардовский вольно или невольно, но пришли через несравненный магнетизм есенинского стиха. Отрицая Есенина, как наставника, тот же Твардовский писал:

Над патами дым стоит весенний.
Я иду, живущий, полный сил.
Веточку двурогую сирени
Подержал и где-то обронил.
Друг мой и товарищ, ты не сетуй,
Что лежишь, а мог бы жить и петь,
Разве я, наследник жизни этой, —
Захочу иначе умереть!..

Считал и считаю простоту русского слога, простоту русской классической строфы наивысшим достижением поэти-

ческой культуры народа. Вот посмотрите, как ясно и душевно говорит Лермонтов:

Быть может, эти вот мгновенья,
Что я провел у ног твоих,
Ты отняла у вдохновенья,
Но чем ты заменила их?..

Если произнести эту строфу замедленно, обращаясь к женщине, то получится не стихотворная форма, а самая тонкая и пронзительная жалоба самому себе, немая речь, обида, запоздало кольнувшая человека, глубоко встревоженного безотчетным отношением к нему.

Но, овеянные вдохновением строки, поставленные в единый ритм бьющей в сердце мысли, – музыка, колдовство. У Сергея Есенина такая простота – главная тропа, она вырисовывается быстро, только стоит серьезно прикоснуться к его творчеству:

Там за Уралом
Дом.
Степь и вода
Кругом.
В синюю гладь
Окна
Скрипкой поет
Луна.

Разве так плохо
В нем?

И читаем:

Славный у песни
Лад.
Мало ль кто ей
Не рад.
Там за Уралом
Клен.
Всякий ведь в жизнь
Влюблен.
В лунном мерцанье
Хат.

И – любовь. Любовь – край. Любовь – зарница. Любовь – песнь... Сергея Есенина сквозь нищету и разлом жизни, сквозь кровь и огонь революции, сквозь личные неурядицы и драмы звала и манила надежда: начать новый путь, новую долю, дом новый, где «стройная девушка есть», невеста его и жена, сестра его и мать:

Если ж, где отчая
Весь,
Стройная девушка
Есть,
Вся как сиреневый

Май...

Тут, как говорится, доказательств не требуется...

И понятна реальная кручина поэта: «Тот ураган прошел. Нас мало уцелело. На переключке дружбы многих нет. Я вновь вернулся в край осиротелый, В котором не был восемь лет. Кого позвать мне? С кем мне поделиться Той грустной радостью, что я остался жив? Здесь даже мельница – бревенчатая птица С крылом единственным – стоит глаза смежив. Я никому здесь не знаком, А те, что помнили, давно забыли, И там, где был когда-то отчий дом, Теперь лежит зола да слой дорожной пыли».

И понятна злоба и ненависть тех, кто с безумной жестокостью посылал раскаленные стрелы в поэта. И понятно, почему Сергей Есенин с яростной иронией отвечает им, междоусобным, но единым по своему гнилому духу, кочующим мерзавцам:

Вот она – мировая биржа!

Вот они – подлецы всех стран!

И «Страну негодяев» Сергей Есенин задумал и сотворил как своеобразный полемический монолог. Но влияние на нас

прощательной молитвы Сергея Есенина очень сильное. Как можно не прислушаться:

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду.

Надо проникнуться презрением к отцовскому плетню, погосту, дому, чтобы не «зацепиться» за эту звонкую боль по всему родному, боль поэта.

Нет, душу не уничтожить, она нужна человеку во всем: в любви, в признании и в самоиспытаниях. Ныне понятно, почему Владимир Маяковский, в саркастическом гневе, откровенно высказался в стихотворении «На смерть Есенина»:

Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
Раздувая темь пиджачных парусов.
Чтобы врассыпную разбежался Коган,
Встреченных увеча пиками усов.

Позднее, размышляя о своем литературном ремесле, Маяковский, как бы между прочим, заметил – какая хорошая рифма:

Погань – Коган.

И – добавим из Есенина:

Хари – Бухарин!

Но это – не между прочим. Нет. В сжатой до взрыва иронии – ненависть Владимира Маяковского и Сергея Есенина к тем, кому чужда судьба и жизнь русского поэта, кто с ядовитой базарной громкостью готов унижать, топтать, слюнявить и похабить талант, принадлежащий народу. И разве случаен факт травли Маяковского?..

Мог ли думать, уходя из дому, шестнадцатилетний Сергей Есенин о том, что через четырнадцать лет начнутся ошибки, скандалы, истерики вокруг его имени? Мог ли он, мальчик, думать, что по нему, этому звонкому и родному соловью, откроется такая долгая и жестокая пальба из всех литорудий? Мог ли он полагать, что кто-то нагло и деспотически попробует исключить, убрать его светоструйный голос?..

Даже мертвому – ему не хотели прощать его изумительного дарования, его совестливого сердца. Составители хрестоматий кого только не противопоставляли Есенину! Эдуарда Багрицкого, Иосифа Уткина, – все они должны были, по замыслу «деятелей литературной истории», оттолкнуть нас от «богемного», «упаднического» поэта.

И – часто я размышляю: Сергей Есенин, как тяжело тебе

жилось, родной, на земле отцов и дедов, оплеванной исайками? Как тебе, наверное, было неудобно? Не зря ты в минуты удручения и маеты произносил:

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
А Русь все так же будет жить —
Плясать и плакать у забора.

Многие десятилетия безъязыкий Самуил Маршак «учил», и все «учит», наших детей «русской музыке» слова, а демократичный дедушка Чуковский «воспевает» тараканов и умывальники, тем самым сея в ранних душах ребят веселую «эстетическую» неразбериху и плюрализм... А ты, дорогой и светлый поэт наш, был отторгнут, отодвинут и оклеветан.

И даже такие истинно русские поэты, как Александр Твардовский, с больших трибун старались принизить тебя и задержать тебя. Все, все время сгладит, но не все оно им простит!..

Пока литературные «чайники» скрещивали мечи в спорах — изжила или не изжила себя поэма «Анна Онегина», поэма шла из края в край по стране, утверждалась и волновала людей. Чем одолеть талант?

Теперь я отчетливо помню

Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.

Я понял —
Случилось горе,
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы – жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»

Не из «Тихого Дона» ли картина? Есенин – первопроходец, он раньше вылепил типы и характеры того времени, чем его собратья, раньше. Мельник, Лабута, Прон, взятые Есениным в жизни, «переехали» из его поэмы в произведения разных писателей, сохранив на себе приметы, «заштрихованные» чутьем гения...

Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенести.
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...

Поедем-ка, Прон, в кабак...»

Пушкин – наша правда. Лермонтов – наша правда. Есенин – наша правда.

* * *

Может быть, поэтому и наводят с диким рвением и безусталью на свои физиономии телекамеру, фотоаппарат, прижимают к своим орущим ртам микрофон нынешние популярные «властители» сцен, именно – популярные, ведь талантливым и любимым поэтам это не нужно!.. Их любят. А этих знают. Этих знают по крикам в прессе. А тех любят по мукам их же сердец.

Зачем передавать назидательно по экрану или по литературным газетам, или – по склокам и скандалам?

Разбуди меня завтра рано,
О, моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Или:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.

Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Самуил Маршак помрачнел бы, пожалуй, «Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт», – не правильно! Правильно – «Говорят, что я скоро стану знаменитым русским поэтом?!»

Вот в этой чужеродной «правильности-то» как раз и гибнет русское слово. Гибнет его искренность, его нежность, его необъятная правильность и подвижность, талант преображаться и перевоплощаться во имя точности.

Но не заметить это никогда робототизированному сочинителю, оптимисту. Он, как угорелый, или, как вор, вспрыгнувший на чужого коня, на чужого Пегаса, будет скакать и скакать мимо русской березы, мимо русской речки, мимо русского поля. А под этой березой – соловей. А в этой речке – русалка. А в этом поле – Коловрат лежит!..

Это ведь – Родина, а не «Дерибасовская», не «Бассейная», не «Базарная» улицы!.. Великие поэты ведут, и мертвые, великую битву за честь и славу Родины и ее культуры. Таков и Сергей Есенин.

В газете «Пульс Тушина» напечатано стихотворение Николая Денисова «Совнарком, июль 1918»:

В стране содом. И все—в содоме.
Пожар назначен мировой.

И пахнет спиртом в Совнаркоме —
Из банки с царской головой.
Примкнув штыки, торчит охрана.
Свердлов в улыбке щерит рот.
И голова, качаясь пьяно,
К столу Ульянова плывет.
Тот в размышленьи: «Вот и сшиблись,
Но ставки слишком высоки!»
Поздней он скажет: «Мы ошиблись!»
Но не поймут ревмясники.

И – читаем: «В морозный день эпохи мрачной, Да, через шесть годков всего. Они, как в колбу, в гроб прозрачный. Его уложат самого. И где-нибудь в подвале мгlistом, Где меньше „вышки“ не дают, Из адской банки спирт чекисты, Глумясь и тешась, разопьют. И над кровавой царской чаркой, В державной силе воспаря, Они дадут дожрать овчаркам Останки русского царя. Еще прольются крови реки – Таких простых народных масс. Тут голова открыла веки – И царь сказал: „Прощаю вас...“ Он всех простил с последним стоном Еще в ипатьевском плену: Социалистов и масонов, Убийц и нервную жену... Летит светло и покаянно На небо царская душа. И зябко щурится Ульянов, Точа клинок карандаша. Еще в нем удаль боевая, Еще о смерти не грустит. Но час пробьет... Земля сырая Его не примет, не простит».

Брат Ленина, террорист Александр Ульянов, изобретавший взрывные «игрушки», казнен Романовыми. Нельзя это забывать, размышляя о деспотической хватке вождя. Забывать – давать поблажку личной необъективности. И в народе гуляет слух о том, как Юровский, по приказу Свердлова, привез пролетарскому идолу голову царя в прозрачной посудине...

Если – был, то мое «привычное» отношение к Ленину «заминировалось». Как принять и «усвоить» подобное дохристианское озверение? Где аргументы найти – простить? Если – был, следует подробнее рассказать о садистах века России и миру.

Если же – не так, если же – не было, имя Ленина надо прямо освободить от черного груза молвы. Неужели трудно согласиться с этим властям? Или согласиться – на себя навлечь Божью кару?.. Вождь – кровавее идола?

Нежный, сердобольный, погибающий от жестокостей, бушующих по стране, Сергей Есенин надрывал душу и слово между грохочущими в подворотнях выстрелами убийц и их же трибунными заявлениями, их же публичными «сочувствиями» трудовому народу. Иудины басни...

Но у нас нет с вами и грамма недоверия к Есенину: к его приветствию перемен, приветствию свободы, к его надежде на лучшее: Надежда осмеяна и порабощена не по вине поэта.

А чем обернулись его упования? Вырубили – достойных. Выкорчевали – смелых. Уничтожили трудолюбивых. Потому

и печаль плотнее и плотнее окутывала душу Есенина. Слезы не давали говорить ему. А пролитая палачами кровь на его земле двигала Сергея Есенина к пропасти:

А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Есенин ощутимо передал нам «нынешнюю» ситуацию, «нынешний» вывод «простых» сограждан:

А все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.

Мысли, изреченные доброй мельничихой, ныне звучат судом, приговором. Но прав ли царь, допустивший бойню? Где его державная длань? Не нам опровергать и приостанавливать суждения. Мы обязаны признать исторический укор, обязаны «зарубить на носу урок за содеянное» и попробовать найти тропу искупления. А тропа искупления – есенинская боль...

Судов, обвинений нам уже лишне. Национальных противостояний, узлов, завязанных предателями покоя, некуда девать:

Много в России
Троп,
Что ни тропа —
То гроб.

За последние годы совершено столько «ошибок» – не исправить за десятилетия. Как, и над текущими годами суд впереди? Но, видя обманутый, объегоренный народ, не сомневаешься: суд впереди.

Сметен памятник Свердлову. Памятник Марксу нам не разрешают пошевелить – пошевелят внуки. Начиная с Мавзолея, пора на Красной площади аккуратно, плита к плите, песчинка к песчинке, начать перенос урн, саркофагов, бюстов – за Москву, на открытое и доступное поле: глядите, гои, читайте, гои, не спотыкайтесь, гои, о лозунги, наганы, лагеря, танки, бомбы.

Запоминайте, гои, «подвиги героев» сражения с родным народом. Запоминайте корифеев и светочей справедливой эпохи. А над полем – поднять печальный крест. Огромный черный крест. Мученический крест поэта. Крест покаяния и прощения, крест надежды. Но шевелить ли могилы? Подражать ли сенегальцам?..

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что случилось в стране.
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

И – в каждом городе так надо поступить, в каждом. Тогда – рассеются злоба и дикость, копать в обществе и государстве. Не будет иной амбал с голоду упираться и башкой бодать памятник Ленину. Пообедает – успокоится. А потом – очистит себя и страну...

Вот потому
С больной душой поэта
Пошел скандалить я,
Озорничать и пить.

С мавзолеями, раздутыми памятниками, почетными захоронениями поступим сдержанно, как поступили, потом – объяснили. Трагедия гиперболических захоронений у Кремля – поворот рек... Маниакальная вдея «все дозволено» – все затопляющая хамь: не царь – царь, а мы цари народов и природы!..

Поступить строго с долдонистыми захоронениями, как с поворотом рек, значит – образумить людей, укрепить их на избранном пути, прояснить, подтолкнуть к благоден-

ствию.

Известно, живя в Сибири, Сергей Залыгин «не покушался» на план переброса рек, а приехал в Москву – многотысячные залы кипят требованиями: «Руки прочь от сибирских рек!» Писатели, ученые, деятели культуры несут вахту по защите рек. Сергей Павлович так энергично присоединился к событиям, аж на кончике их острия затрепетал. Спасибо ему от нас и от рек...

На Ваганьковском кладбище 3 декабря 1926 года хлопнул пистолетик. Молоденькая сотрудница ВЧК Галина Бениславская упала «возле креста» Сергея Есенина. Ее записку – «В этой могиле для меня все самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу» – мы знали, но лишь до «все самое дорогое»...

А кто такой Сосновский? Ранее – бандюга, поякшавшийся «призванием» с Шаем Голщекиным, Янкелем Свердловым – царевубийцами. Член Президиума ВЦИК, заместитель редактора «Правды». Тезка Троцкого, Лейба Сосновский, удавом катился за поэтом.

Мать Сосновского – шизофреничка. Ей мерещился везде подвох – русские иконы... А сестра Сосновского – постриглась, в монашках. Мать презирует православие, дочь – принимает. Сый – бандюга. При очередной «чистке врагов народа» Сосновского расстреляли. Бог судил, а секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев реабилитировал:

видно, много на нем грехов перед Россией? Вместе с Горбачевым развалили Родину. Прорабы, сунувшие нас в пучину крови.

Блюмкин, провокатор и садист, поручается: «...я, ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по гостинице „Савой“ №136, беру на поруки гр. Есенина и под личной ответственностью ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей». Безграмотно, но искренне...

Великий русский поэт – преступник? А Дункан 3 октября 1921 года, в мастерской художника Якубова, произносит, встретя Сергея Есенина: «Ангел!..» И только 3 августа 1922 года Есенин с Дункан возвращаются из-за границы.

Галя Бениславская тоскует: «Всю ночь было мучительно больно. Несмотря на усталость, на выпитое, не могла спать. Как зуб болит мысль, что Есенин любит эту старуху и что здесь не на что надеяться. И то, что она интересна, может волновать, и что любит его не меньше, чем я. Казалось, сердце и то не светит больше, все кончено».

Несуразная жизнь. И мы, русские, несуразны. Ни одного гения своего не уберегли от клеветы и травли, ни одному великому поэту не подлили мечтательности и вздоха: то пуля, то виселица...

Брата, по матери, Александра, Сергей впервые увидел, будучи уже известным, да и Саша был уже взрослым.

– Погостить к нам приехал? – сосед Сергея спрашивает.

– Да, погостить.

– А брата своего видел?

– Какого брата?

– Сашку.

– А где он? – даже вздрогнул Сергей.

– Вон идет с дедом Федором.

Подходит, вспоминает Александр, к Сергею, встал я против него, он мне прямо в глаза смотрит:

– Ну, давай поздороваемся, брат!

Мать Сергея Есенина выносила Сашу, уйдя от отца поэта, но развода так и не получила, возвратилась. Появились Катя и Шура... Отдав на воспитание Сашу, ребенком, мать Сергея Есенина бежала за повозкой подруги и под звездным холодным небом рвала на себе волосы... Трагедия тайны Есениных.

Татьяна Федоровна на сыновей смотрит: «Мне так радостно, так хорошо!» В юности Татьяна Федоровна, Таня, Танюша, слыла частушечницей, необыкновенно и перебористо играла на гармошке. Но осчастливленным дарованием судьба недодает счастья в обычной толчее. Первый ее возлюбленный не женился на ней. Замуж вышла за нелюбимого? Ушла из семьи – полюбила, Сашку родила, но развода не получила.

Если у Танюши – судьба русской работающей девушки, обиженной жестокостью быта и грубой ошибкой случая, то у Татьяны Федоровны Есениной – судьба русской матери, из-

мученной горем и мглою нищеты, грузом бесправия.

Русская мать как бы обменялась, уравнивала между собой и сыном-поэтом посланную на них неправду, злыдство и разруху. Несчастье матери и несчастье ее сына-поэта взаимно заменены и взаимно непоправимы: палачи тут орудуют. Я знаю, кровь и слезы русской судьбы еще не раз вспыхнут синими васильками в равнодушном взоре мира. Вспыхнут и погаснут.

* * *

Голову царя Ленин прятал в сейфе. Сталин приказал замуровать ее в стене Кремля. Хрущев, нарушив ансамбль Кремля Дворцом съездов, засыпал царскую голову щебенкою и штукатуркой. Бог наказал Хрущева, а Ленина до сих пор держит на обозрении, мертвого. Брежнев поддавал – ничего не заметил... Андропов с Черненко быстро ретировались. А Горбачев запустил хасидов под православные своды соборов. Великий грех совершил, нехристь. Скитается теперь. Богом и Россией отверженный. Ельцин вертолетами Кремль содрогнул и – ничего...

Родина моя, держава моя «размонтирована» бандитами, а ее народ бедностью придавлен. Каково поэту? Труп вождя – в Мавзолее. А голова царя – в легенде. Кто же правит нами?

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор,
Но даже с тайной
Бога Веду я тайно спор.

Устали мы и закручинились, загорюнились и приуныли. Потому и поэты русские пьют – пропасть коротают, над бездной плывут... А в бездне – кресты, кресты, места им не нашлось: ну где замуровать казненных?..

Царскую семью на Урале дьяволы в шахте замуровали, а русский ветер памяти и непокая освободил ее. Кинулись раздраженные дьяволы народ русский замуровывать на бурьянных кладбищах запрещенных монастырей, под серебрястыми рудниками Заполярья, под штыковыми обелисками Европы и Азии.

А русский народ, как ослабелый ребенок, прах немощи отряхая, к России, матери своей, тянется – закопать ее во рву, дьяволами приготовленном, не дает, богатырь истерзанный. А Ленин – замурован. Слюдой и медью оплавлен. Наблюдай за ним в форточку. Но гвалт сорить мы возле него не намерены:

Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

Сооружающие взрывные устройства на погибель царям террористы, стреляющие в живот губернаторам террористки не чванливы, уволокли с кровати дворянина-контрика на расстрел – они в его кровать и веки смежили. Кровь на мостовых их не угрызала, сиротство детей, забранных у арестованных и уничтоженных, не тормозило рыцарей народной революции. Дети – дети. Чужие – и в приюте покушают.

Горький – из босяков. Макаренко – педагог незаменимый. Колонии малолетних бандитов – советские университеты. А еще ядовитее: из них, колоний, несчастных детишек, у кого отцы и матери чекистской пулей просверлены в каменных подвалах, детишек, в ЧК, в ЧК призывали, хватать, как подросли и шинели ремнем опоясали, и сверлить пулями неугодных.

Кровавые детишки – кровавыми отцами стали. Кое-кто свихнулся – ум, как Мавзолей, трещину дал... Да и отпрыски террористов – не чище. В инспекторы, в следователи, в инструкторы вшились, а скелеты и скелеты – грузом висят над ними их террорные родители.

И внуки тех террорных родителей места себе в России не заприметили: демократничают, митингуют, депутатничают, а хроническую террорную болезнь не излечить – кровь русская им нравится, ищут ее у красных, у коричневых, не напьются, паразиты... Сиротам-чекистам и внукам-террористам, в дедов удались, ядом обоняние опрыснуло. И вкус к приличию уроды утратили.

Царь – выронил Россию. А эти – провоевали, протюремили. И сто лет не протянули – выдохлись. Пеленали нас портретами вождей, за чубы тыкали в буквари вождей, присягать заставляли вождям, в атаки бежать со здравицей в честь вождей, а не удержались. Злобой и предательством захватили Россию – злоба и предательство их закрутили и позором пометили при удувании.

Но за Россию – не грустно, а невыносимо. Наследили зверино и болванчиков, претендующих в министерские кресла, наковыряли в теплых дворянских постелях уokoшен-ных контриков. Наковыряли, а мы еле-еле Гайдара, по-бабьи румяного и охапистого, стащили с премьерской должности. Влажный и потолстевший – неаккуратно разъелся, поспешил ученый внук террориста. Но десятки килограммов заполярных изумрудов ссудил, изловчился, «всучил» Израилю... Русская гордость не разрешила ему «отказать в услуге» ближним.

Сергей Есенин предвосхитил наследственных расхитителей:

Бедный люд в Москву
Босиком бежит.
И от сгона, и от рева
Вся земля дрожит.

И:

Послушай, да ведь это ж позор,
Чтоб мы этим поганым харям
Не смогли отомстить до сих пор?

Еще и еще напоминаю: Есенин с восторгом вышел на трассу революции, доверчиво посмотрел на ее железный бронепоезд, но отшатнула его месивная сукровь на чугунных колесах фыркающего сатаны – ехал, сволочь, через русские шеи, ломал позвоночники, тряс дома и пашни.

Зарываясь в лирику, как в рязанский пушистый снег, заплывая в нее, как в омут детства, поэт выздоравливал, пробиваясь в «свою глубь», в «Персидские мотивы», иначе – слово разорвалось бы.

Улеглась моя былая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.

И:

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Голубой лунный покой и красоты – где они в России?

Бронепоезд стучит и стучит по гудящим рельсам чугунными красными колесами...

Уберем Ленина, Свердлова, Дзержинского, Калинина, Рейснер и остальных, а куда Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина денем? Они – живые, а натворили не меньше тех, давно опочивших. Что за линия такая: Ленин пошел по ней – по крови пошел. Сталин пошел по ней – по крови пошел.

Горбачев реконструировал ее, «одемократил», улучшил, выверил: республики из СССР вывалились и в крови барахтаются. Ельцин подправил и усилил Горбачева: народы в дым и кровь окунулись, злоба и смерть торжествуют.

Ленин – угрожал, свергал и уничтожал. Горбачев громил, свергал и перестраивал. Ельцин – встать на ноги человеку не дает: ветер хамства, голода и предательства по России гудит. Настоящие большевики: без врагов – ни шагу. Нет врагов – выдумают их и вперед ускоренными темпами двигаются...

Бедный народ. Палачи и провокаторы – в креслах царских, на тронах сидят. Чужое радио. Чужое телевидение. Чужие газеты и журналы. А попадают среди чужих свои – замученные ценами, клеветой и судебными преследованиями. Россия под каблуком держателей золота и алмазов...

Как мог Гайдар стать главою правительства? Золото, золото и золото, алмазы, алмазы и алмазы!..

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?

Окружили. И не сон – явь трагическая. Боннэр – у плеча Ельцина. Ну кто она? Кто Гавриил Попов? Кто Шахрай? Кто Чубайс? Кто Козырев? Кто Махарадзе? Кто Бурбулис? Кто Полторанин? Тошнит от фамилий.

Некоторые пишут: «Есенину в номере „Англетера“ проломили голову чем-то железным, острым, может быть, утюгом. Четырехсантиметровая рана запеклась. Несколько граммов мозгового вещества вытекло».

Некоторые пишут: «На горле Есенина веревку не затянули, а лишь захлестнули, и Есенин очнулся. Попытался высвободить себя из петли, схватился правой рукою за трубу и застыл». Но как же он «очнулся», если убит? Если и вещество мозговое пролилось?

Современные специалисты заново провели изучение документов, сопоставили факты, предположения и догадки, но документы остались в том «немом» времени, не заговорили с ними. Специалисты не перечеркнули молвы.

Но – повешен Устинов. Но – застрелилась Бениславская. Но – погибла Дункан. Уничтожен Орешин. Уничтожен Клюев. Уничтожен Наседкин. Уничтожен Иван Приблуд-

ный. Единицы выжили из окружения Есенина. А родным Сергея Есенина запечатали рты. С 1925 года по 1953 год. На двадцать восемь лет запечатали. Да и на двадцать ли восемь? В 1990 году «храбрецы» хором зашущукались, а потом и по архивам трясли носиками, зашуршали в бумагах...

Но кто виноват в молчании? Никто. Расстрельные пули, посланные палачами в поколения и в поколения, виноваты. И некого из нас корить. Некого угнетать. Всем нам отдавили языки. И безопасная храбрость – никому не в пример.

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.

Мать поэта, русская и седая, мелодии на гармонике подбирала – стихи уничтоженного сына напевала: боялась – умрет, не выдержит горя. Россия, Россия, что сделали, что делают с тобою?..

4. Судил их рок

Два настроения слились в поэте: чувство света, радости, песни и чувство хмури, тоски, мятежа. Два полушария земли: Север и Юг. Два крыла Вселенной: день и ночь.

Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!

И – как бритва:

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!

И – как просьба:

Старый, добрый, заезжий Парнас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином,
Я хочу быть желтым парусом,

В ту страну, куда мы плывем.

Обуреваемая «французскими но отцу, грузинскими по матери генами», Галина Бениславская признается в момент досады и кризиса: «Так любить, так беззаветно и безудержно любить, да разве это бывает? А ведь люблю, и не могу иначе; это сильнее меня, моей жизни. Если бы для него надо было умереть – не колеблясь, а если бы при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнется, узнав про меня, – смерть стала бы радостью».

Но, порезавшись о быт, о личные драмы, свои и чужие, удивляется она: «Обозлился за то, что я изменяла? Но разве он не всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было все испытание? Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли! А дурак бы заранее, не испытывая, знал, что разобьюсь. Меня подчинить нельзя. Не таковская! Или равной буду, или голову себе сломаю, но не подчинюсь».

Не подчинилась. И Лев Осипович, политкаторжанин, увлек Галю: с ним настоящую суть поняла... И с одним ли Повицким?.. Не подчинилась. Клянясь – изменяла. Приобретая – утрачивала. Оправдываясь – виноватилась. А цветы вспыхивали и гасли. Жизнь вспыхивала и гасла.

А 28 декабря 1925 года – телеграмма: «Москва, Брюсовский, дом Правды, 27, Бениславской МСК Ленинграда 103522 12 16 51 Сообщите Наседкиным Сергей умер – Эрлих». Телеграмма – почему Бениславской?..

И – дневник Бениславской: «Да, Сергунь, все это была смертная тоска, оттого и был такой, оттого и больно мне. И такая же смертная тоска по нем у меня. Все и все ерунда, тому, кто видел его по-настоящему, – никогда не увидеть, никогда не любить. Жизнь однобокая тоже ерунда. И общечеловечность, и все, все есть, когда существо живет, так, по крайней мере, для меня тогда расцветают все мои данные, все во мне заложенное. Малюсенькая „надеждочка“ осуществилась, но это непоправимо».

Есенин погиб, а она: «...расцветают все мои данные, все во мне заложенное»... Чушь какая-то. Но нам ли ее осуждать? И осуждать ли?

И – 25 июля 1926 года опять: «Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь». Ясно? Понятно? «Очень даже просто!» Значит? Ау, уа! Погода во всех состояниях – думаете, и все тот же вывод! Ну, так... гоп, как говорится, а санатория – «это ж ерунда». Ну, отсрочили на месяц, на полтора, а читали, что лучше смерть, нежели. Ну так вот, вот...

Сергей, я тебя не люблю, но жаль. «То до поры, до времени...» (писала пьяная) Б (ениславская).

Чего же еще тебе, читатель, нужно? Разве ты не заметил – больная? Да, больная. Грешная. И если – не кроваво грешная, то слава Богу!.. А каково поэту? Каково Сергею Есенину в логове бандитов, грабителей, инквизиторов, царегубителей и расстрельников, дорвавшихся до власти и никем

не контролируемых?

Потому и Ленин – не икона. Потому и:

Войной гражданской горя,
И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.
Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».

И потому, перемещаясь приметой в примету, образом в образ, а характером в характер – как оглушительная пощечина в зале, в Большом Кремлевском там или в Белоколонном – Дома союзов, но пощечина по сытому и продажному времени, по револьверным проституткам, чахоточно кашляющим у безвинных могил, по розовым рожам картаворотых палачей, трущихся гладкими обжорными животами на трибунах:

Сыпь, гармоника. Скука. Скука.
Гармонист пальцы льет волной,
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали —

Невтерпеж.

Что ты смотришь синими брызгами?

Иль в морду хошь?

Читатель мой, оглянись – поворачивается туда и сюда по стране эта морда, поворачивается и жует. Жует – сдобу, шоколад или колбасу? Жует, неторопливая, тупая, а мы – в разорении, в голоде, в холоде. Кто у руля сегодня?

Вчера отмечали день Сергия Радонежского. А возле Патриарха Алексия II – Ельцин, Попцов, Фридман... А – Гайдар? А – Бурбулис? А – Чубайс?.. Кто они? И что хотят они от нас и от нашей измученной России? Тени Троцкого, Свердлова, Дзержинского и Ягоды, Менжинского и Берии – бессмертны? Бессмертен вождь революции?.. И – не родит Россия. Трава сохнет. Дожди заметеориваются.

Да—да—да!

Что-то будет!

Повсюду

Воют слухи, как псы у ворот.

Что-то будет со мной и с тобою. Что-то будет с нами и с Родиной. Теперь мы дорогому Сергею Павловичу Залыгину, старейшему и мудрейшему, нашему как бы деду Мазаю, спасшему нас, зайцев, от «наводнения», по гроб жизни – молимся. Даже «националистическая» «Память» ста-

вит в его здравие свечку, хоть он и забыл: привела на массовый митинг защищать реки «Память» «националистическая». А национализм, по Залыгину, – потеря, крушение идеи. Но идею – защищать реки дала нам «Память»...

Плыви, дедушка Мазай, со спасенными зайцами по сибирским рекам, плыви и не ругай смутную «Память», ведь смутная «Память» – народ, а среди народа всякие – герои, трусы, страдальцы, хриstopродавцы, труженики, торгаши, бандиты и приспособленцы, всякие... Но не тускнеет исповедь:

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи – не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла..

Есенин – это Коловрат! Только Коловрат – в слове.

* * *

Пока существует народ – существует его язык. И разве возможно заменить язык Гоголя языком – эрзацем? Или – заменить эту искренность:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Целая изба. Целый мир деревенского житья-бытья, мир, где все живет в тысячелетнем взаимном сцеплении и взаимной зависимости! Та же самая искренность, только чуть ожесточенная, проявилась в поэте и тогда, когда он возмутился:

Приемлю все,
Как есть, все принимаю.
Готов идти по выбитым следам,
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

И – предчувствие: русских, русскую территорию, Россию, как шкуру неубитого медведя, разделили-таки. Катастрофа ослабила и уменьшила нас. Поэт предупреждал... Мы – в оккупации телерадио, прессы, ОМОНа, под пятой коррумпированных генералов, изменивших нам и Родине.

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Полнейшая свобода выражения чувств – правда поэта. Здесь поэт – высший судья! Потеряв СССР, мы виновато к России повернулись. К нему, к поэту...

А кто ты? Ты, замахнувшийся на стихи, исчерканные кровью сердца, ты, оскорбивший его родных и друзей, молчали-

во пронесших любовь к Есенину, мучимых сплетнями и злобой врагов-завистников, кто ты, взявший у них, наверное, отобравший интервью или воспоминание, которое записал дрожа, чтобы не отказали – на коленях, бездарным языком?

Кто ты? Исайка?.. Или сам Бухарин?.. Кудрявый ты, гололобый ты, черный ты или рыжий, – все равно ты не Есенин, нет, не Есенин. Так не заслоняй же его, не торчи впереди его, отстань, отойди, ты так будешь выглядеть скромнее, человечнее и нужнее! Не политикань. Не диссидентствуй.

Посмотри вокруг, сколько еще ныне полонено поэтов муками поэтов, бессонницами совести и памяти! Помоги им. Ты ведь – не создатель, помоги... Или ты думаешь, раз тебе хорошо – значит, всем хорошо?

Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.

Не такой уж горький я пропойца,

Чтоб, тебя не видя, умереть.

Ты бы, поди, побоялся профкома или побоялся того, что тебя обсудит за «двойственность натуры» твой коллектив, или твой благополучный и такой же, как ты, потный и округлый сосед-депутат... А поэт говорит-то кому эту трагедию? Матери.

Что ты можешь сказать о женщине, о тоске по золотому часу любви? Лирику ты подменяешь пафосом, пафос – ло-

зунгом. А ведь – у Есенина-то:

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Она, она, «стройная девушка», зов и надежда, стремление поэта к чистому родниковому уюту семьи:

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну,

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напой дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

Сергей Есенин – весь в слове. Его слово – психологическая, нравственная, национальная боль. Она звенит, соединяя наши чувства с мирами, казалось бы, давно забытыми, где жили, воевали, работали и праздновали наши предки. Эта боль – русский голос. Едина душа у нации. Песня едина у нации.

Сергей Есенин – воюющий поэт! Он стоит на рубежах великой русской культуры. Через его слово не проползет ни один нарушитель, ни один предатель. Трепетным светом он обнажит и покажет их лживое обличье своему народу.

Заслуга Сергея Есенина еще и в том, что он не дает осытеть до черствости, до бессовестной лени «певцам дня», склонным к социальной полноте и одышке... И, пожалуй, после Михаила Юрьевича Лермонтова на нашей земле не было поэта, так пронзительно мыслящего о чести таланта.

Не помню, но кто-то недавно зачитывал у нас, на собрании литераторов, «тезисы» какого-то Инкина или Нинкина: дескать, Сорокин оскорбляет Христа только потому, что Христос – еврей... И далее: Сорокин – шовинист, антисемит, сочувствующий генералам, умиряющим демонстрации.

Интересно: справка, что ли, есть у Инкина или Нинкина о национальности Христа? Кем она, интересно, заверена? Не Иудой ли?... Инкин или Нинкин требует меня «судить за уголовное преступление», грозит возмездьем за «передернутую цитату его». Передергивать-то нечего.

Я не передергивал. И ни слова не вписывал. Кто вписал – тот знает, а я не знаю. А с настоящими военными меня роднит уважение к солдату, к армии: я – сугубо гражданский человек. Вот Инкина или Нинкина можно породнить, скажем, с Лейбой Троцким-Бронштейном или Янгелем Свердловым, этими инквизиторами.

Но я не буду Инкина или Нинкина с ними роднить, он луч-

ше, добрее: не требует казни, а требует лишь суда надо мною за свою «изувеченную» цитату. А я за оскорбления в мой адрес не буду требовать мести, пусть спокойно «творит» злобу на моем языке, авось посветлеет, ведь мой русский язык – солнечный, щедрый язык.

И пусть С. Рассадин не гневается на меня в «Огоньке», что я «перепугал» его фразу с фразой Б. Сарнова. Искренне скажу: у них, пишущих на моем языке, а веющих к нам, русским, завистливым недомоганием, и слова-то однообразные, сухие, мертвошелушащиеся, как старая кожа, из которой давно выползли ядовитые гады.

Да и Хлебников зря врет в «Огоньке». Я ничем перед ним не провинился. Наоборот, когда холодной зимою он бегал по Москве, расклеивая на столбах объявления: «Меняю квартиру в г. Устинове на московскую!» – бегал, расклеивал, а мороз дергал его за нос, аж слезы наворачивались у новосела, я помог ему. Свежим платочком аккуратно вытер ему нос. Дорасклеил с ним объявления. Опять вытер нос, хотя он кокетничал, крутил, оттягивал, и обогрел его, пригласил к себе. В свое время «подтолкнул» к изданию первую книжку сочинителя. Отблагодарил...

Врет: мол, с «купленным» аттестатом поступил в Литературный институт. Я окончил Высшие литературные курсы в 1965 году. Врет: мол, Ю. Мориц исключал я из института. С Мориц я познакомился лет на десять позднее. Когда она училась в институте, я работал в первом мартене в Челябин-

ске...

Это он, автор болтовни, бегаёт из кандидатов наук в слушатели ВЛК, из слушателей ВЛК—в «Крестьянку», из «Крестьянки» – в «Огонек», из «Огонька» – в судьи... «Атте- стат, деньги, справки!..» Где же «сыщик» рылся? В талмудах КПК? И чья эпитафия на «биографа»?

Есть Велимир Хлебников,
Поэзии император,
А этот, он из нахлебников,
Иуда и провокатор.

Но все же хвала атлантам,
Страдающим слогоманией:
Первый – потряс талантом,
Второй – графоманией!..

Но беда-то моя в том, что я не верю и верить не желаю: огоньковский кандидат наук не станет плевать на того, кто вытер ему свежим платочком мокрый нос и обогрел. Да и «пошибает» он на женатого Карла Маркса. Но вялый. Это – подмена. Настоящая подмена человека – афера. Борода жи- же. У Маркса – внушительная.

Веселей нам надо общаться. И судить о людях – по их профессии, по качеству ее исполнения. И меньше врать, жаловаться, недомогать бесталанной завистью и слепотою без-

дарности. Инкин или Нинкин давит на «Молодую гвардию», на журнал, Хлебников давит, Рассадин давит, Сарнов давит. Надоели. Ничего не хотят читать кроме?

А есть еще А. Минкин. Писатель Николай Кузьмин в «Литературной России» сообщает: «По радио „Свобода“ выступал некто Минкин и доказывал, что Гитлер шел на Россию не как захватчик, а как освободитель. Что это? Это же просто сатанизм. Однако сатанизм запланированный. Судят победу России над Гитлером, над фашизмом. Кого-то она страшно раздражает...»

В журнале «Столица» А. Минкин и В. Войнович – руководят. Но они, как Хлебников, не минкины и войновичи, не те, не «забугорные», надеюсь... Хлебников сбежал от Коротича, «опомоив» его.

* * *

Я пишу очерк о Сергее Есенине, а в СНГ — межнациональная потасовка. Российское братство – заплевали, а российскую помощь равновесию – дай. А какой долбеж по мозгам людей ведут «забугорные голоса»?

Даже диссидентствующий Войнович читает лекции о нецелесообразности компартии в России, вообще – просит, советует, рекомендует, умоляет, приглашает к суду над нами. Какое ему дело до нас? Уехал – живи спокойно. Вернулся, впустили – благодари. Нет: дергается, лезет, навреде

того, обожающего тыкаться в корыто... Платят ему золотым долларом сразу, что ли, на пороге закута?

И вдова Андрея Сахарова нас учит, Елена Боннэр, по «забугорным голосам». Покашливая, советовала – какому народу России открыть у себя ЦК, какому закрыть, какому народу выйти из России, какому войти. Клюет по-куриному Солженицына за мысль «Об устройстве России», чуть кое-где соглашается, но тут же взбадривается и дрябло кудахчет.

Ну кто она? Всего – Боннэр... А кудахватила: страну, десятки ее народов учит, правда, учит архаично, но учит, вместо того чтобы пирожки печь и читать Михалкова с внуками и правнуками, не «мозолить» глаза нам за тенью изобретателя ядерной бомбы и хранителя человечности – Сахарова. Да и мысли «Об устройстве России» пока негодились.

Сионистская пресса восторгается: Сахаров за критику Елены Боннэр «ущипнул» Н. Н. Яковлева. Гусар. Воспитанный. Аристократ. Тощий и озлобленный, он мог и укусить красивого Н. Н. Яковлева. Мог. Не Н. Н. Яковлеву же давать «отпор» академику, комарино зудевшему на депутатских съездах и сессиях? Не перепутал ли физик Н. Н. Яковлева, скромного, с А. Н. Яковлевым, «жиганистым» корешем Горбачева и Шеварднадзе?..

Боннэр – учит. Минкин – учит. Войнович – учит. И отирающиеся постоянно возле «забугорных» микрофонов Л. Фишер – учит, В. Фрумкин – учит, А. Друкер – учит. Вот похрипывает, покашливает Елена Боннэр, а я мучаюсь: неуже-

ли Запад не в силах найти у себя или привезти от нас, из России, помоложе старушечку, поздоровее, менее «простуженную» и раздражительную? Ворчит, ворчит – курево на тумбочке оставила?.. Каприза.

Лишь успеет какой из благородных евреев убежать – высовывается: несет глупость о русских, а русские даже осенью 1942 года евреев больше себя ценили.

«Новая московская «аристократия» спешно покидала город, опустел и Дом правительства у Большого Каменного моста. На всякий случай его минировала специальная команда саперов НКВД.

Ведь сколько ни скребли чекисты квартиры «врагов народа», многое, очень многое мог обнаружить враг в пустых апартаментах серой громады «Дома на набережной». А там жили и потомки Свердлова, и породнившийся с ними через своих детей Подвойский, и Антонов-Овсеенко, и Тухачевский, и многие другие, о ком рассказывают ныне памятные доски на его стенах.

Большая часть таких беженцев получила помощь наркома Кагановича. Сохранилось свидетельство о том, что Лазарь Моисеевич был инициатором негласного строжайшего правительственного распоряжения при угрозе захвата немца ли того или иного района в первую очередь вывозить еврейское население, предоставлять ему при эвакуации все возможные виды транспорта. Не без участия Кагановича образовался известный по горьким анекдотам того периода «вто-

рой фронт» в Ташкенте и прилегающих к нему областях».

Это – опубликовал в газете «Патриот» Евгений Евсеев, палачески убитый на автотрассе. Но сионистская пресса молчит. Почему? Мешает палаческое убийство Меня? Но Мень погиб позднее. Пора нам подобрать. Пора относиться к русскому, к еврею, к представителю любой национальности равно заботливо, доверительно и перспективно – с расчетом на завтрашнее согласие.

Священник Мень – еврей, убит. Журналист Евсеев – русский, убит. А мы продолжаем дуться, продолжаем мелочно обижаться – достаточно! Кому надо это? Палачам. И пусть бабушка Боннэр успокоится, передохнет. Пусть «забугорные голоса» передохнут. И мы поузнаем:

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем.

И:

Под окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Пусть Владимир Познер не семенит по-мышьиному на экране, не провоцирует: сколько сбежит из России на заработки в загранрай, пять или двадцать миллионов специалистов? Пусть хоть раз он содержательно помолчит. Неуже-

ли Познер обаятельнее Нинэль?

Сергей Есенин – поэт великий, а человек – несерьезный: уехал из России и заскучал. И по «забугорным голосам» не выступал. Прозаик Иван Акулов – несерьезный. Мальчишкой воевать отправился. Ранен под Мценском. Романы его резали, резали, а он умер дома. Периферия.

Да и Юрий Бондарев – несерьезный. Фронтовик. Бьют его, а он – терпит. Ему-то бы с наслаждением забугорный микрофон подсунули. Василий Белов, Петр Проскурин – нюни: укатали бы!.. Не грызться же!

У гроба Сахарова, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, Боннэр заклинала: «Не делайте из него икону! Не делайте из него русского патриота!..» Далеко зашла. Русский патриот – противно, глупо. Это – Исайка. А как сделаешь из Сахарова русского патриота? В подобных экстремальных случаях казаки говорили: «Никаких возможностей!..»

Тело Сахарова не успело остыть, а в Горький прибыл мировой очеркист Адамович – в черном. День – черный. Дом – черный. Голос звучит – черный. И судьба у академика, папы ядерной Чебурашки, – черная.

Проспект – Сахарова. Город – Сахарова. Премия – Сахарова. Планета – Сахарова. Быстро, быстро, как Высоцкому – спорт!.. Куда торопятся? Не разоблачат же их, красно-коричневых русских патриотов?

А дед Мазай проплыл в лодке мимо Раисы Максимовны, мимо нас, зайцев, мимо президентского совета, на Гималаи

выгрести собирается. В Рерихи?.. Сахаров – бурдюк с кровью: тужурка и очки, и памятник – пистолет, выстрелил – лопнул!..

Никогда, как бы меня ни обижали, не пожалуюсь, никогда! Ведь если бы Яков Свердлов нас, безвинных, не судил и не расстреливал, не уничтожал, словно нерпье стадо на океанских побережьях, разве бы он, бурдюк, лопнул, наполненный кровью?!

Я давно говорю откровенно про них. Нас, так прямо говорящих о кровавых карликах, не много: иные, бородатые, скользят боком, иные, бритые, пятаются, а мне и податься некуда, проведенному через Голгофу, – только вперед!

Друг мой замечает:

– Белый ты, как январский куст!..

Я отвечаю:

– А ты?..

А зима скрипит в деревьях снегом, стучит на реках морозом, гудит в пространствах бурей – кровь русская реет по земному шару, шумит и места себе не находит!..

Поет зима – аукает.

Мохнатый лес баюкает

Стозвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою

Плывут в страну далекую

Седые облака.

Но страшная метель, страшная буря – впереди. Впереди, как сама Россия – еще впереди!..

Никакая комиссия по расследованию трагедии царской семьи не нужна. «Наш современник» дал материалы генерала М. К. Дитерихса:

«По мнению комиссии, головы членов царской семьи и убитых вместе с ними приближенных были заспиртованы в трех доставленных в лес железных бочках, упакованы в деревянные ящики и отвезены Исааком Голощекиным в Москву Янкелю Свердлову в качестве безусловного подтверждения, что указания изуверов центра в точности выполнены изуверами на месте.

По отделении голов для большего удобства сжигания тела разрубались топорами на куски. Тела рубились одетыми. Только таким изуверством над телами можно объяснить находку обожженных костей и драгоценностей со следами порубки, а драгоценные камни – раздробленными. После этого тела обливались керосином, а возможно, и кислотой, и сжигались вместе с одеждой»...

А «Литературная Россия» напечатала отрывок из книги Роберта К. Мэйси «Николай и Александра»:

«Троцкий потребовал от Белобородова более подробных сведений и вещественных доказательств смерти Государя. Телеграмма гласила следующее: «Желаю иметь точные сведения о том, понес ли тиран России заслуженную кару».

В ответ на эту телеграмму был получен 26 июля запечатанный кожаный чемодан, в котором находилась голова Государя. Более серьезных вещественных доказательств прислать было невозможно. 27 июля по приказу Ленина были собраны верхи большевистской диктатуры, которым была показана «посылка» из Екатеринбурга. На этом собрании было установлено, что в кожаном чемодане в стеклянном сосуде находится голова Императора Николая II, о чем был составлен протокол за подписью всех присутствующих большевиков: Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Дзержинского, Каменева, Калинина, Петерса.

На этом собрании Каменевым был поднят вопрос о том, что делать с головой убитого Императора. Большинство присутствующих были того мнения, что нужно уничтожить эту голову, только Зиновьев и Бухарин предложили сохранить ее в спирте и оставить в музее в назидание будущим поколениям. Это предложение было отвергнуто, дабы – по выражению Петерса – нежелательные элементы не поклонялись ей, как святыне, и не вносили бы в простые умы смуты».

В Екатеринбурге орудовали револьвером и топором над царской семьей Белобородов (Вайсбарг), Исаак Голощекин, Войков (Вайнер), Юровский, а в Москве продолжали суд над мертвой головой императора Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Бухарин, Дзержинский, Каменев, Калинин, Потере, Крестинский, Радек, Коллонтай, Бонч-Бруевич, Эйдук, Лацис, подпсевдонимные и неподпсевдонимные поно-

жовщики. Интергруппа...

Голова императора уцелела до смерти Ленина. Наткнулись на нее. И спрятали ее, как я уже сообщал, где-то в Кремлевской стене. Использовали документы и бумаги, обнаруженные в сейфе Ильича. По «рекомендации» Сталина и Куйбышева «схоронили». Что же? Бог им грехи скостил, а вождю нет?..

* * *

Представим: Сергей Есенин узнал о зверстве, узнал о приказе Ленина? Представим: Есенин мечется, ссорится, опровергает себя, приветствовавшего революцию, посвятившего стихи ее капитану? А рядом с Есениным – сосновские, блюмкины, аграновы, ягоды? Рядом – смерть. А мы – кто? Подопытные.

Где наши храбрые современники, указавшие нам на гробовой сионизм? Где Иванов? Где Бегун? Где Евсеев? Что с Емельяновым? Где Осташвили? Сначала банда сделала из Осташвили драчуна-недоумка, в газетах; а в тюрьме – уничтожила. Повесила.

И – сам ли повесился Есенин? Мы не имеем свидетелей. Мы не имеем «улик» пока, но – пока... Мы к живому к нему обращаемся. Надеюсь, каждый из нас принесет «капельку золотую» в есенинский сад. И без нас – принесут.

Я не могу взять на свою совесть – убили или не убили по-

эта в «Англетере». Его убили – на суде, требуя убрать под стражу, Рог, Левит, Липкин, его убили бухаринские «афоризмы», ночные окрики Троцкого-беркута, летящие над расстреливаемой Россией, его убили – лубянки, бутылки, соловки, его убили – гонимые, ищущие на родной земле приюта, его убили – арестованные, колоннами направляемые на ка-торгу:

И меня ль по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Да, «Затерялась Русь в Мордве и Чуди, Нипочем ей страх. И идут по той дороге люди. Люди в кандалах. Все они убийцы или воры. Как судил их рок. Полюбил я грустные их взоры С впадинами щек. Я одну мечту, скрывая, нежу. Что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу Под осенний свист».

Так судил их рок... Так и его судил рок. Не правда судила Россию, а рок, навязанный ей палачами. Посмотрите, кто сегодня травит нас? Те же быстроповоротливые сосуны русской крови.

Когда с гор бежит сильный весенний поток, он оставляет глубокий след. По этому следу видно, где потоку что преграждало, мешало в пути: камень, овраг, колода. И по это-

му следу очень буйно позже растет веселая трава, трепетные цветы, особенно – «кукушкины слезы».

Судьба Сергея Есенина – поток, вокруг этой судьбы и впредь будут расти и удивляться наши дети и внуки. И пусть они благодарно склоняют головы, заметив среди буйных трав пламенные «кукушкины слезы».

Судьба – горный поток. А есть судьба – пень-корневик. Ляжет он, такой разветвленный и многожильный, и лежит поперек потока. Лежит, и ничем ты его не сдвинешь. Толку от него нет и зла большого нет, поскольку вода уже давно под него «подобралась» и утекла. Но он лежит. И ты попробуй убрать его. Сопротивляется. Топорщится. Скрипит. Похожий на паука, цепляется, крутится, корчится. Но, увы, сух и не нужен.

И пролежи он над руслом горного потока четырнадцать лет, прожитые Есениным со дня ухода из дома, ничего все равно не изменится – пень останется пнем.

Четырнадцать лет! Ушел. Объехал многие города и села России, мира. Вернулся. Оставил тома и тома. Нигде ни разу не солгал. Никому не уступил права говорить за себя. Никому. Великий. Русский. Гениальный.

В павильоне ВДНХ дрессировщик забавлял детишек, приведенных мамами, – поглазеть на ученого мишку, бурого и косолапого шутника... Мишка прядал в стороны, приседал на задние лапы, подпинывал по сцене футбольный мяч, ловил падающие конфеты и пряники и, ликующий, убегал под

занавес.

Перед убеганием кланялся – благодарил аудиторию за аплодисменты и, глотая сласти, внюхивался в зал: редко нынче пахнет мясом, а в зале пахло настоящей, без фарцовки и офасоливания, колбасою, хрустковатой, веющей забытой нами ароматичностью подовой томительности.

На демократических подаяниях и зверю тяжко. Конфеты и пряники, крохи от них, посланные ребяташками, раззадорили весельчака. Он взломал клетку после концерта. И – на дыбы. И – на задних лапах колбасы. На запах законно причитающегося ему настоящего мяса. А мяса нет.

Взъяренный медведь выбег. На тротуаре настиг уборщицу. Из сумки у нее торчал батон колбасы. Сбил, уронил ее, окровавил, изранил – жестокость овладела зверем. Бурый и косматый, с клыками сверкающими – напал на женщину, шедшую с его же концерта с мальчиком. И ее изранил, содрал с головы пук волос вместе с кожей, а мальчика случайно не задел: еще колбасу искал, остервенясь.

Двенадцать раз выстрелил милиционер – уложил на тринадцатом. Медведь – жертва голодной злобы. Дружелюбный плясун – в разбойника выметнулся. А смех ребят обернулся слезами и кровью.

Не копи злобу в себе. Не вини за свое «озверение» соседей. Ищи ошибки в своем народе и не лютуй на чужой. Сергей Есенин – в себе плакал, в себе радовался. Русский, как василек в поле, он врачевательно цвел среди мордвы и евре-

ев, среди персов и грузин.

Злоба острее голода. Зверь грозно слышит ее и покоряется ей. А мы люди. Сколько песен и красоты в нас? Солнце нас греет, а луна нас убаюкивает, и свет, такой синий, синий свет льется до горизонта, а над горизонтом – свеча горит золотая...

Есенин – не Ленин, и незачем из его архива желтые клочки в пузатую энциклопедию склеивать, пятьдесят пять «ильичевских» томов наскребать поэту. Мы на былинных курганах скифов мачты высоковольтные забуровываем, а по голубому васильку партийными чоботами шаркаем. Мусольники, отпрянув от Ленина, отбросным утилем невежества замусориваем Есенина, сами на хламе временно над ним возвышаемся.

А поэт – один. Мраморный бюст, белый – на красном бархате. И – на поляне. Под синими небесами. И – красные кисти рябины к золотой голове свисают. Не толпа, а люди русские, Богом и бедностью просветленные, много их: волнами, волнами к нему и к нему колышутся, теплые и покорные.

А с красного бархата лебедем белым он взлетает. Крылья белые над красной рябиной парят. Чего же еще вам?.. Вот и живу я и старею. А праздник тот рязанский, день тот русский, впереди меня цветет: я к нему, а он дальше и дальше, воздушный и благовестный.

Одряхлею и заветшаю. Не вечно мне молодостью щеголять. Юноша заденет меня на тротуаре – извинится. Девуш-

ка в метро на мою седину внимание обратит – пожалеет. Как им знать, что через меня людские волны, теплые и покорные, до сих пор к нему и к нему, колышась, устремляются?..

«Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Прожил в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов».

«Пятилетку – в четыре года!»... «Пятилетку – в три года!»... «Пятилетку— в два года!»... «Программу – пятьсот дней!»... «Двести дней, а там —. стабилизируемся!»... Кровавые фанатики. Ленин перед смертью сетует: «Человеческий матерьял сопротивляется перековке!» Эх...

* * *

Не Есенин ли в пригоршнях на Красной площади у Кремля показывал соратникам капитана революции кровавые слезы своего народа? Ведь Пугачев – не Пугачев. И Хлопуша – не Хлопуша: мы это, мы, взвинченные и отвергнутые имущими, наказанные – за мнимую провинность, обездолен-

ные – за труд честный, России верные – от России оторваны:
Творогов из поэмы не в нас ли перекочевал?

Стойте! Стойте!

Если бы я знал, что вы не трусливы,

То могли бы спастись без труда.

Никому б не открыли наш разговор безъязычные ивы.

Сохранила б молчанье одинокая в небе звезда.

Не пугайтесь!

Не пугайтесь жестокого плана,

Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей,

Я хочу предложить вам

Связать Емельяна

И отдать его в руки грозящих нам смертью властей.

Сусанин – наш. И Покрышкин – наш. Генерал армии Варенников – наш. Но и Горбачев – наш. В Израиле он Иуду встретил – Иуда побрезговал. Иуда, предав Христа, уныло перебирал, перебирал в кармане сребреники – унынием окутан, на безгрешной осинке повесился. А Горбачев ту осинку, трепещущую и горькую, купить в Израиле захотел – и перепродать, с «наваром», иудам у нас – для музея иуд, во главе с ним Родиной торганувших...

Горбачев – уже не Иуда, а осьминог с обрубленными щупальцами, осунувшийся и выпученнобельмный, он совершает еще манипуляции на экранах и трибунах культями,

но манипуляции никого не интересуют: Родина взорвана, как ипатьевский дом, как храм Христа Спасителя, как Россия, СССР взорван лупобельным дьяволом.

«Сын мой! Если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись. Беги от греха, как от лица змея; ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его – зубы львиные, которые умерщвляют души людей. Всякое беззаконие как обоюдоострый меч: ране от него нет исцеления. Устрашения и насилия опустошают богатство: так опустеет и дом высокомерного. Моление из уст нищего – только до ушей его; но суд над ним поспешно приближается».

Генсек-Иуда и президент-Иуда украл у нас острова и загнал их Америке, в Беринговом море, а остров Даманский, где герои похоронены, китайцам промотал, а у москвичей – квартал вытащил, приватизировал себе и Раисе Максимовне, не ворюга? Но – где покой? За рубежом – вонючими яйцами агентов зашвыривают, а на Родине – заплевывают и хоромы урезают постановлениями... Раиса Максимовна, поди, кассиршей согласилась бы работать у отца на железнодорожной станции или в Америку улизнуть, но и на вилле – грех источит...

Война «до конца», «до победы»,
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.

Что нашим сыновьям делать в Таджикистане – Ельцина охранять? И когда Горбачев прекратит шамкать на экране и на трибуне? Когда иуды рты сомкнут? Кто мы? И есть ли мы в России?

И пристегивать поэта к рыжему жеребенку, машущему красной гривой, скачущему за поездом и пытающемуся поезд тот обогнать – индустриальный маразм отечественной мысли, лебезение пред мощным локомотивным зверем США, кстати, презирающим лебезение шелкоперов от партсекретарского эзопничества:

...Дорогие мои... Хорошие...

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Кто так страшно визжит и хохочет

В придорожную грязь и сырость?

И:

...Ах, это осень!

Это осень вытряхивает из мешка

Чеканенные сентябрем червонцы.

Да! Погиб я!

Это она, она, она,

Разметав свои волосы зарею зыбкой,

Хочет, чтобы сгинула родная страна
Под ее невеселой холодной улыбкой.

Червонцы – рыночные мокрицы. Американский доллар вывозил их в банковской валютной жиже: хватайте!..

Кто около Горбачева отирался? Яковлев, Шеварднадзе, Арбатов, Сахаров, Боннэр, Явлинский, Собчак, Евтушенко, Бунич, Корякин, Коротич, Бурлацкий, Дементьев, Адамович, Черниченко, Шаталин, Заславская.

Кто около Ельцина отирается? Яковлев, Арбатов, Боннэр, Явлинский, Собчак, Бунич, Корякин, Дементьев, Адамович, Черниченко, Шаталин, Заславская.

Шеварднадзе – воюет с Абхазией и Россией. Сахаров умер. Евтушенко в Америке. Коротич в Америке. Бурлацкий в Америке. Эти – задержались у нас. Надолго ли? СССР сокрушили. Россия почти сокрушена. Надолго ли задержались они у нас? Потрясающие времена: предателям – зеленый свет?

Завтра уравновесится Россия – уравновесятся и ее соседи, молодые страны, но задрожат на тронах и закувыркаются с них испеченные на цэрэушной кухне перестройки мелко-травчатые диктаторы-самосы, вчерашние члены Политбюро ЦК КПСС.

В детстве мама предупреждала меня: «Не лазь на рассыпчатую гору. На какой камень ни ступишь – ползет, за какой куст ни схватишься – отрывается, и ты вниз летишь, в про-

пасть!» Мой родной хутор Ивашла стоял под рассыпчатой горою, как моя судьба – под «рассыпчатой горою» кремлевских изменников.

Да, какое прорабское имя ни возьми – ползет, какую их программу ни схвати – отрывается, и руководство России – «рассыпчатая гора». Но камни мы соберем!

Есть порода гололобых стервятников. Кривоклювые и нахальные, они воруют кур, воруют маленьких ягнят, падаль раздирают и уносят в гнездо: захламывают собственное жилище вонючими шмотками, добытыми разбоем.

Гляньте на Горбачева, бороздит и бороздит небо: то в Германии, то в Японии, то в США, и везде ему – подачи, милостыня, грязные доллары, пахнувшие богатством, пахнувшие свинцом и развратом, предательством и смертью.

Гололобый и хищный, чернее коршуна, проклятый и приговоренный в России к вечному презрению и вечному позору, он цапает заржавленными жестяными когтями гомонки с иудиным серебром. Цапает и несет их через прерии и моря в украденно-приватизированный квартал в Москве, в собственный бесчестный фонд.

Летит, несет, предатель, сребреники, а великая страна распадается и распадается, им проторгованная и взорванная. Несет, а дым измены захоливает его. Несет, а кровь народа плещет в зенки ему. Несет, а безвинные обелиски и кресты вырастают и вырастают перед нами.

Под обелиск его не положить – переделать. Под крест

нельзя – Иуда. И жить ему велено свыше: пусть показнится, пусть понаблюдает слезы, им вызванные, великий черный предатель, великий черный свидетель русской беды. Народы его отторгли, а земля не приняла словоблуда.

Синее небо. Черный стервятник. Грустный звон серебряников.

Слушают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной!..

Черный и кривоклювый хищник летит. И дети у него есть. И гнездо у него имеется. Только покоя нет. Нет у него покоя.

5. Дункан танцует

Что с нами сделали? Пушкин поднимал бокал за братство и песню племен. Лермонтов славил гордый Кавказ. Некрасов простонал на всю Россию. Есенин взял у них желание и надежду на очарование грядущим.

Но мы оказались в слезах и крови новой гражданской войны. Гибнут русские, армяне, осетины, азербайджанцы. Украину и Россию толкают в бойню. А Горбачев едет по Москве. Автомобиль тупорылый. Охрана за ним. Еще автомобиль тупорылый. Вихрь. То – холуи пылью завиваются...

Едет Горбачев, а мимо окна – длинные очереди. Женщины, жертвы его бесовской перестройки, молоко и хлеб добывают для детей, внуков и стариков. Продавщицы злые. Очередь злая. Надвигается на прилавок, а ни молока, ни хлеба нет. Будет ли?

Куда же едет в бронированном тупорылом автомобиле бывший президент Горбачев? Не сидится. Разорил, разгромил великую страну и едет? И суда над ним не предвидится? Залазит в телецентр и с экрана советует, печется: «Я русский, я за Россию борюсь!..»

Боже мой. Боже мой, как обессовестеть и обезуметь можно: предать народ и улыбаться? По распятой России едет. Очередь, замечая черный тупорылый автомобиль, вздрагивает и поворачивается:

– Лучший немец поехал, фриц!..

– Немцы благодарят, а русские проклинаяют!..

– Он нас не знает, русских, чужой!..

Сколько перестрадал и перестрадает русский народ из-за темного суетливого лидера, совершившего глобальное предательство, космического масштаба измену?

Поэт Сергей Есенин жизнь сжег на любви к России, а этот за предательство России в черном бульдожьем автомобиле едет. Едет мимо грязных пустых магазинов, мимо грязных голодных столовых, мимо русских несчастных очередей. Черт едет, дьявол.

Есенин предугадывал течение событий, платя за муки и сомнения стоном души и слова. К 1925 году поэт сформировался окончательно: прозрел и оперся в размышлениях на опыт народа и опыт истории. Безрадостность предвидения отягощала его, а разоренная стезя России веяла туманом.

Галина Бениславская, разорвав любовную связь между Седовым, сыном Троцкого, и собою, сравнивая и перебирая в памяти мелькнувших партнеров, убедилась: никому из них не одолжено Господом золотого теплого сердца, отзывающегося трепетным звоном на человеческий вздох, никому, никому, только – Есенину. Это сердце – не обмануть. От этого сердца – не уйти...

«Я опять больна. И, кажется, опять всерьез и надолго. Неужели возвращаются такие вещи. Казалось, крепко дер-

жу себя в руках, забаррикадировалась, и ничего не помогло. И теперь хуже. Тогда я была моложе, верила в счастье любви, а сейчас я знаю, что „невеселого счастья залог сумасшедшее сердце поэта“, и все же никуда мне не деться от этого. Опять тоска по нем, опять к каждой мысли прибавляется это неотвязное ощущение его. Опять все скучны».

Вот что выстрелило у могилы, а не пистолетик... От Сергея Есенина Галя ушла, а от молитвы его и покаяния его нет. А Есенин весь – молитва, весь – покаяние!

Встретясь с братом, Есенин подробно, я уверен, слышал о Саше раньше и ждал. Знал Сергей Есенин и о скорби матери, попреках ей со стороны родни отца. Знал Сергей Есенин и о девичьей беде своей матери: любимый на ней не женился, а нелюбимому она родила «четырёхмесячного» сына, скоро умершего... Разве такого чуткого, такого гениального парня провести, разве зашифровать его догадки в молве? Наивно.

А в чем вина матери? В том, что ее верность и ее свет, ее нежные цветы вспыхнули, но погашены равнодушием и неосторожностью? Есенин, ее сын, поэт ее и философ, лечил ее:

Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюсь на другой».
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса,
Душегубкою-змеею развилась ее коса.

«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

Не кукушки загрустили – плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе, —
Хороша была Танюша, краше не было в селе.

И «я женюсь на другой», и «за другого выхожу», «верховые прячут лик» – биография погубленной красоты, образ ладной и восторженной Танюши, растерзанной необузданными претензиями закоренелой грубости... Насмешки. Оскорбления. Угрозы. Чужая семья. Ревность и взрывы ненависти мужа. А душа-то у Тани колокольчиковая, голубая, куда ее спрятать? Да и муж – не деревянный...

Александр, брат Сергея, говорит: «Ввиду постоянной неурядицы моей матери с отцом Сергея, мать была вынуждена уйти из семьи в г. Рязань, оставив маленького Сергея на воспитание деду Титову Федору Александровичу, ему

было четыре года». В Рязани Татьяна Есенина встретила с добрым и заботливым человеком, полюбившим ее: родился Саша.

Двоих сыновей воспитывать было тяжело, и мать была вынуждена обратиться в народный суд с требованием развода или паспорта, чтобы иметь право жить в г. Рязани. Суд состоялся в том же городе, судил их земский начальник. Татьяна Федоровна на суде была с двумя сыновьями, с Сергеем, и Александром, на суде муж отклонил требование о разводе и потребовал ее возвращения в семью. Требование уперлось в требование.

Не вынося укоров и брани, Татьяна Федоровна, через семнадцать дней, появилась вновь в Рязани и устроилась на должность кормилицы в детский дом, прихватив с собою и Сашу. Но развод отклонен – возвращение неминуемо. И мать просит подругу Екатерину Разгуляеву взять на воспитание Сашу.

Отдавая, потеряла сознание. А когда повозка тронулась, через версту, полторы, крик: мать с распущенными волосами... Подбегает, обезумевшая: «Боже мой! Я забыла с ним проститься. Дайте моего ребенка, я еще раз прижму его к груди». Берет на руки, прижимает к груди, целует, заливаясь слезами. Затем хватается за волосы и рвет прядь с кровью, кровь заливает лицо»...

И годы, годы мать, как горная орлица, на отдалении неутомимо сторожила сына: «Вдруг 5 января в два часа ночи стук.

Вышла Екатерина Петровна:

– Кто там?

– Это я, Сашина мать, откройте мне!..»

Сторожила умно, щедро, благодарно: «Дорогая подруга, Екатерина Петровна, я очень прошу приехать ко мне с моим сыночком Сашенькой на несколько дней. Я очень соскучилась по нему, к вам я приехать не могу, нет никакой возможности. Дочь Катя маленькая, а Шуру кормлю грудью. Сережа находится в Москве у отца. Убедительно прошу Вас приехать ко мне, жду с нетерпением. Целую Вас. Оденьте Сашеньку потеплее, чтобы он не простудился. Я за него беспокоюсь!»

Приехали. Александр вспоминает: «...вот подбегает ко мне, берет на руки, целует в лоб, волосы, щеки, глаза и плачет. Вносит меня в избу:

– Сейчас я тебя напою, накормлю и согрею!..»

* * *

Мы, малосведущие люди, роясь в судьбе великого поэта, всерьез принимаем: «Есенин кровью написал стихи Эрлиху потому, что поэты и раньше Есенина писали посвящение кровью». Наверно. Кровь стихов Есенина – не от крови ли матери, бегущей за повозкой ускользающего ребенка?

Зимняя степь. Сверкающие инеем березы. Белые холмы. Высокие суровые звезды над ними. И – оледенелое про-

странство. И – скрипучая русская дорога. И – снег по краям.
А на дороге – мать. Волосы рвет, судьбу прокликает...

Ну, вы, есенинцы, родные мои, разве трудно угадать, чему
и кому жалуется поэт, о чем и о ком, а?

Я вижу – в просиничном плато,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная матери
С пречистым сыном на руках.

Она несет для мира снова
Распятый воскресшего Христа:
«Ходи, мой сын, живи без крова,
Зорью и полднью у куста».

Личное, от детства и до предсмертного часа, перевоплощается в поэте в твое и мое, в наше, человеческое, счастливое или несчастливое, но перевоплощается и утверждается: дар поэта раскрывает увиденное и пережитое, приобщенное к своему народу, как весной природа – цветы показывает нам, печальные они или веселые, смотри и проникайся...

Не надо натужно втаскивать в творческую биографию Есенина «детали и приметы» его живой биографии, но и не замечать такое – слепота:

Сердце неласково к шуму,

Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Да, «Бил ее выгонщик грубый на перегонных полях»,
но совсем ведь не о корове:

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.

Метко, как пулей, точкой узаконено: даже знаки препина-
ния рассчитаны на главную мысль – выделить и обособить
то, что поэт дает нам в подтексте... Касаясь ли больших со-
бытий, опускаясь ли над ручьем, склоняясь ли над ромашкой,
Есенин многозначен, масштабен, но многозначность и мас-
штабность его слова усилена неповторимостью личного. Он
достоверен собственным горем:

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...

Пора нам заметить и поражение соединить «разрыв»
по времени:

Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ну?.. Есенинцы, не лицо ли матери, а? Не лицо ли России? Может— опровергнете?

Сергей Есенин не был ни пьяницей, ни хулиганом, ни распущенным женоедом. Уж чего он искал, к чему неостановимо стремился, так это – к уюту, к светлой семье, раненный с детства личной драмой матери.

Мать Есенина – слеза России. Действительно – дочь России: ее гнули, мяли, унижали, «орабынивали», но не смогли. Ну, разве она – не русская мать? Разве она – не Россия? Через есенинский род Батухан проехал в шатровой кибитке, Ягода прошуршал тайными «досье», Ежов и Берия проскребли инквизиторскими перьями.

Поэт создал из страданий своих, из «фамильных» трагедий и утрат образ любимой и создал он «лицо» матери, Магдалины лицо, и сильным сыновым светом сердца опакнул его:

В лунном кружеве украдкой
Ловит призраки долина.
На божнице за лампадкой
Улыбнулась Мавдалина.

Кто-то дерзкий, непокорный
Позавидовал улыбке.
Вспучил бельма вечер черный,

И луна – как в белой зыбке.

Вспучил бельма... А не они ли, пятившиеся на «юбилее» Сергея Радонежского от Патриарха Алексия II, вылупляли будильни-коподобные зенки? Есенин горько биографичен и социально предсказателей – жестокая привилегия гениев:

И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.
Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

Похож – ребенок России, ее соловей и пророк, ее седой месяц, вечно плывущий над зимними оледенелыми просторами.

Погибла Бениславская. Погибла Дункан. Погибла Райх. И оставшиеся в живых не виноваты за страшную бурю, не захватившую их под свой убийственный зык. Расстрелян Наседкин, муж Кати. Расстрелян Георгий, Юра, сын Сергея Есенина и Анны Изрядновой...

Сестры, Катя и Шура, отмечались в НКВД, мать, Татьяна Федоровна, отмечалась в НКВД, через определенный срок: не сбежали бы, шпионы! И находятся люди, оправдывающие крысиное существование власти? Власти не было. Были палачи,

имитирующие какую-то, внешне сносную, власть, а внутренне – расстрельные подвалы, а не власть.

Поэт чувствовал: не уцелеет русская открытость, втопчут новоордынцы русский уклад в русскую землю. И мысленно, царапая и укалывая душу о разочарования и трагедии, искал угол, а в нем – икону, символ нравственного и физического спасения:

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах не рассказать:
На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.
Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокошая,
В юбчонке белой,
Стоит береза над прудом.

Что это? Кто это? Это – совесть. Россию выбили и замучили. Нет пути назад. И лишь впереди – оклик прожитого, знак веры и воскрешения.

В июле 1925 года Есенин пишет стихотворение, в нем, как в книге, если вдуматься, рассказаны «наития» того, что случится с землею, с человеком, с Россией, когда извечная традиция человека добывать себе хлеб трудом своим и окружающую среду править и прибавлять им же, трудом своим, – ликвидируется.

Разрушение личного труда, личного присутствия в своем и в державном, замена этого личного на коллективно-бесхозное, где это личное не просто исчезает, а и осознания по себе в нас не оставляет, да еще мало – не благодарят тебя за честное личное, но и в любой момент, коли потребуется кому, пропесочат и обвинят...

Сергей Есенин с ужасом понимал: исайки и нинэли организуют «бригады» в селе и в городе, в школе и в прессе. Начнут руководить ими, холуйничать перед высшими чинами, предавать и продавать личный труд тех, кто и есть хозяин земли... Но если возделыватель поля раб – раб и правитель. Он – обманут холуями, ослеплен их усердием пропагандировать его «покровительство» и волю. Не до равенства.

«Каждый труд благослови, удача! Рыбаку – чтоб с рыбой невода, Пахарю – чтоб плуг его и кляча Доставали хлеба на года. Воду пьют из кружек и стаканов, Из кувшинок также можно пить – Там, где омут розовых туманов Не устанет берег золотить. Хорошо лежать в траве зеленой И, впиваясь

в призрачную гладь, Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать. Коростели свищут... коростели... Потому так и светлы всегда Те, что рано в жизни опростели Под веселой ношею труда. Только я забыл, что я крестьянин, И теперь рассказываю сам, Соглядатай праздничный, я ль не странен Дорогим мне пашням и лесам. Словно жаль кому-то и кого-то, Словно кто-то к родине отвык, и с того, поднявшись над болотом, В душу плачут чибис и кулик».

Обобыют пахарю желание сеять, зарастет полоса полынью. Дом ссутулится. Дети родиться перестанут. Города людским хламом пополнятся. А труд и ратный подвиг в посмешище превратятся. Колос от земли, как человек от земли, оба – лишь к звездам растут...

Сдаю я экзамен по русской поэзии на Высших литературных курсах в 1965 году, а профессор Друзин:

– Захваливаете, хваливаете Есенина. Он не учел радости коллективного труда!..

– Колхозов?..

– Ну, ну...

– Колхозы Щипачев, Грибачев, Исаковский и Твардовский воспели, счастливы!..

– Кхе-кхе... – увиливает профессор.

Литературные «парторги», с детства оторванные за уши от главного – горевой и нищей реальности, долдоны, ошарашенные съездовскими решениями и пленумными поста-

новлениями, специально подбирали, «сочетали» и подавали читателю «идейно-мажорные» строки Есенина, нанося вред творчеству и образу поэта. Оболванивали. наивных. Но Есенин – выше «идейного мажора» и в тысячу раз ответственнее и нравственнее их замурзанных уголовных бород, впершихся в искусство, науку, экономику, историю и политику с револьвером: «Не согласен – застрелю!..»

С первого взрыва первого храма началось русское сползание во тьму, в междоусобицу и кровь. Все войны, следовавшие за этим взрывом, – навязанные нам войны оголтелыми «революционерами» планеты, жульем рынка... Все многомиллионные обелиски над братскими могилами – бессрочный укор нам. Выбили русский народ и растащили его по зарубежьям...

Друга Есенина, русского поэта Алексея Ганина, приговорили к расстрелу и быстро прикончили. За что? За что приговорили? И за что же прикончили? Русскому русским не быть? Сидит Есенин. В особняке у Дункан сидит. Паркет воском сияет. Зал – и ветру просторно. Свет высокий и спокойный.

Почему его не расстреляли? Разве Есенин достойнее Ганина, честнее, решительнее? Древний свет в зале и покой древний, а лада на душе нет, то пугаческим огнем заметется она, красным пожаром пропляшет по русским долам, то рязанской метелью завоюет и свистом затеряется в грозных степях.

А Дункан с багряным шарфом танцует: «Есенин, Есенин!» – хохочет, а у самой слезы на крашенных ресницах горят и высыхают, тоскует увядающая красавица или чувствует смерть скорую, его смерть и свою смерть?

Свивается в кольца разгневанный шарф и развивается. Взлетает и падает перед Есениным змеем жарким, по-колдовски рассыпается и собирается из мелких частиц в дракона, крупного и хвостатого. Рябью заволочло взор Есенина. А Дункан танцует и приговаривает:

Гитара милая,
Звени, звени!

И звенит гитара. И друг его, еще не расстрелянный, Алеша, струны перебирает. Красный огонь мечется по залу, танцует пламя... Луначарский, лысый бабообожатель, появился и тут же исчез. Ягода открыл и закрыл двери. Блюмкин блокнот вытащил, зыряка, страницы слюнявит.

Но утих огонь. Прижалось красное пламя к сердцу поэта. Дрожит, сиротливое и ненужное. А в другом зале, Белоколонном, гроб поставлен. И тоже люстры сверкают. Но никто не танцует. И люди, люди, бедные и богатые, чумазые и щеголеватые, старые немолодые, люди движутся и движутся к огненному гробу глянуть на вождя огненного. О смерти соскучились? Или и траурная очередь – мираж?..

Москва? Берлин? Рим? Нью-Йорк? Париж? Сидит Есе-

нин и покачивает русой головою. Москва, Москва.

Лейбман, а по литературному произведению Чекистов, а по псевдониму Троцкий, по настоящей фамилии Bronштейн, вождь революционных масс, в «Стране негодяев» – лирический герой, чья бесья тень возжелала сделаться Гамлетом:

Мне нравится околесина.

Видишь ли... я в жизни

Был бедней церковного мыша

И глотал вместо хлеба камни.

Но у меня была душа,

Которая хотела быть Гамлетом.

Хотят и хотят – не уймутся: Исайка – Есениным, а Лейба Троцкий – Гамлетом. Прочитав «Страну негодяев», Лев Троцкий, надо полагать, не остепенил аппетиты к величию укоризной и насмешками поэта. Он принял Есенина, пообещал ему содействие в открытии журнала в Ленинграде. Но душа Есенина и душа Троцкого не сольются в порыве русском.

Информация о Есенине, разумеется, постоянно доходила до Льва Троцкого. Есенин, видя кровавое перемалывание русских, бросался в трагический огонь правды, а Троцкий, видя непримиримое отношение Есенина к расправам над русским народом, зверел. Зверели и его подручные. Узел

над головой поэта затягивался.

Считать же: как еврей, так враг поэта, как еврейка, так узурпаторша поэта, бессмысленно и глупо. Русские казнители не уступят казнителям еврейским, схожесть казнителей – зависть, ненависть к таланту, к совести и доброте. Да и в поклонницах и в женах поэта разоблачать лишь «чекистскую стратегию» смешно: американская разведка могла бы и помоложе Дункан подослать танцовщицу к Есенину – увезти его из России...

Исключать же в судьбе Есенина дьявольское око Троцкого и «тайные поручения» – наивь. Кровавый рассвет палачества не миновал золотой головы поэта. Страшно подумать: Гумилев, Блок, Есенин, Маяковский, Клюев, Васильев, Корнилов – самое лучшее, что дала нам русская поэзия того времени, – убраны пульей и травлей.

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.

И:

Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

Ветер и сухие уста. Ветер и листья времени —с дерева жизни... А в Москве есть маньяк, похожий на Феликса Дзержинского: грязной панельной метлой очищает снег с цементного «котелка» Карла Маркса напротив Большого театра. Счищает и жалеет пролетарского лешего...

А как в «Анне Снегиной» дана деревенская юность? Как дана деревенская весна? Этот удивительный лунный час природы. Этот задыхающийся сад. Эти лебединые шорохи яблонь. Сергей Есенин – цветок земли, подсолнух земли. Мы часто забываем: судьба большого поэта – всегда поучительна и глобальна.

Разве способно вытерпеть Сергея Есенина звериное ухо черного человека? Черный человек, ты – наша русская беда, ты, черный человек, должен оплатить нам наши утраты, должен. Черный человек, ты нам теперь не так страшно опасен. Мы научились угадывать себя.

Черный человек – прячущий свое обличье человек: Дзержинский, отец которого – богатый Фрумкин?.. Фрумкин – тут. Фрумкин – у Кагановича, Фрумкин – Есенину мешает. Фрумкин – на «забугорных голосах»... Пропали мы!

А в «Стране негодяев» Есенин нарисовал Чекистова, разве не черного человека, разве не Фрумкина или Бронштейна? Замарашкин удивляется:

Слушай, Чекистов!..

С каких это пор

Ты стал иностранец?

Я знаю, что ты еврей,

Фамилия твоя Лейбман,

И черт с тобой, что ты жил

За границей...

Все равно в Могилеве твой дом

Чекистов

Ха-ха!

Нет, Замарашкин!

Я гражданин из Веймара

И приехал сюда не как еврей,

А как обладающий даром

Укрощать дураков и зверей.

Тяга укрощать, гримироваться, подражать – у них неис-
требимая тяга. Сильнее тяги к храмцлаху и к фарширован-
ной щуке.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный человек,
Черный человек
На кровать мою садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Устал Есенин. Забылся Есенин. Дремлет Есенин. Черный человек идет. Черный человек идет. Впереди себя толкает женщину и ребенка. Завывает: «Я мужа ее убил! Я мужа ее убил!..» Есенин жену узнал, Изряднову, узнал. Сынишку, Юру, узнал. А Черный человек идет. А Черный человек идет.

Дремлет Есенин, дремлет. А Дункан перед окном «Англетера» танцует. Дункан танцует. Птицей скользит. Птицей скользит. А Черный человек по небоскрегам идет, по небоскрегам идет: «Я мужа ее убил!.. Я мужа ее убил!..»

Дремлет Есенин, дремлет. А над его могилкой Галя сидит. Сухую глину перебирает. А Черный человек опять воет: «Я мужа ее убил!.. Я мужа ее убил!..»

Раскосый. Черный. В полосатой кофте или в тельняшке. Черный человек идет. Черный человек идет. С Ордынки идет. С Шаболовки вдет. С Таганки идет. С Мясницкой идет.

* * *

А по ночной Москве Костя бежит. Таня бежит. Дети Есенина и Райх бегут: «Маму погубили!» Куда они бегут? А Черный человек: «Я мужа ее убил!.. Я мужа ее убил!..» Раскосый. Черный.

Дремлет Есенин, дремлет. И видит – мать его поднимается, седеет зимы, святее смерти: «Детей твоих разорили! Сестер твоих разорили! Дом наш разорили! Зачем, сынок, я тебя родила?..» Мать стоит. Сестры стоят. А Черный человек распластывает Есенина и – каблуками, и – каблуками!.. Раскосый, черный.

Дремлет Есенин, дремлет. Тишина холодная в «Англетере». А Черный человек истаивает, истаивает. И вот он – почти карлик, верткий и беспощадный.

А Дункан танцует. Дункан танцует. Птицей скользит. Птицей скользит. И – тишина. Холодная тишина. Луна глядит в окно гостиницы, Христос ли задумался на облаке? Лишь серебристый иней в саду, как пристуженные морозцем слезы, горит и сверкает, горит и сверкает.

Проговорился Есенин, мол, правит Россией Лейба... Бухарин упоенно издевался над мертвым поэтом: то у него Есенин – мужиковствующий, то – юродствующий, то – хмельно целующий Бога, то – матерящийся в Бога, то – угрызающийся, готовый повеситься из-за вчерашних выходок, неумный,

крестьянствующий ухарь и недотепа...

И это – член Политбюро, главный редактор газеты «Известия», коммунар, «закаленный в горниле борьбы» с самодержавием? Откуда у него ненависть кремлевского циника, бытового хозяйчика, самца, подержанного знатока юных девичьих достоинств?.. Не пощадил жену, «быстро устаревшую» для «выдающегося деятеля», взял, как выхватил, ее сестренку, малолетку-пышку, а тоже мудрую – члена Политбюро примахнула...

Сильно нравственный, Бухарин ерничал: дескать, не прикончили, а только всласть кое-каких подрасстреляли царей, цариц, царевен, царевичей и разных там светских барышень, немножко погрохали. Кого – в висок, кого – в сосок, кого – в сердце, но укокошили. Государь – рухнул. Государыня – упала. Дочери – мертвы. Сынишка, наследник – брыкался. А Сергей Есенин, поди, жалеет, сочувствует? Ручку «чмокал» у царицы... Стрелять надо!

Илья Эренбург еще вздохнул о Есенине. Мало одного раза? Галина Бениславская бредит. Пьет. Литератор Устинов, пообещавший рассказать о гибели Есенина, наутро был найден опочившим. Что это? Устинов еще в «Англетере» приобщился к истине сомнений? Войдя в номер, с другими, застал витающую смерть?..

Следы крови – на полу. Следы крови – на брюках. Следы крови – на рубашке. А пиджак? Шкаф отодвинут от стены. В стену – ход? Ход – двери? Закрыты, но – отворились?..

Девочка, гимназистка, в тот вечер, обнаружен ее «дневничок», – загляделась, на цыпочках, издали, в есенинское окно. Свет погас, но судорожно вспыхнул. Тени начали метаться, крутиться, за шторой, и кататься... Много догадок. Много людей, включенных в тайну гибели поэта.

Но тайны нет. Сергей Есенин убит еще до гибели. Убит подлецами, ненавидящими его русский облик, его неповторимый русский голос. Они и сейчас мстят!.. Есенину мстят. Народу мстят. Давно ли Есенина судили, обвиняя его в антисемитизме? Требовали уничтожения. Долгий суд – изуверство. Безжалостный суд – больница. В больнице Есенин решает бежать из Москвы, бежать от преследований.

Рюрик Ивнев подчеркивал: прощаясь с друзьями, сестрою Шурой и Татьяной Толстой, поэт не торопился успокаиваться, интуитивно чувствовал неотвратимое. Он ведь – «националист, монархист, черносотенец»!.. Как знакома картина, «доска почета», пестрящая ветхозаветными ярлыками. Суд над русским – за русский дар его, за русское происхождение его. А ныне, при Ельцине?..

Верный «родич» гестаповцам, застарелый и обтрепанный, как аравийский гриф, жаждущий жертвы, Лазарь Моисеевич Каганович в «Аргументах и фактах» хрипит: «Были времена похуже, но меня волнует сейчас идеологическая сторона и то, что происходит у нас. Куда завернет это „возрождение“ России? Позавчера один старичок говорил по телевизору: „У нас сейчас начинается возрождение русской куль-

туры“. Что за чушь такая! Мелет! И разрешают ему по телевизору болтать! Возрождение русской культуры!..»

Палач взвинчен, сомневается – а вдруг возродится Россия?.. Слова «большой шовинизм», «национализм» глотает со вкусом, как горячие капли крови.

В этом же номере «Аргументов и фактов» Лев Троцкий «оплакивает» Ленина. Оказывается – любит, тоскует, помнит вождя и соратника. О Сталине цедит слюну воспоминаний: «Сталин хотел власти. Передавал ли Сталин Ленину яд, намекнув, что врачи не оставляют надежды на выздоровление, или же прибегнул к более прямым мерам, этого я не знаю. Но я твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького, совсем маленького движения его руки...»

Можно подумать – Лев Троцкий пощадил бы Сталина, если бы сел на «трон». Умеют соскребать русскую кровь с Бронштейна и Кагановича журналисты-хриstopродавцы, умеют. И Свердлова маскируют под «рабочий террор», но:

Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорил по Библии
Пророк Есенин Сергей.

И:

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Есенин! Я видел твое лицо через несколько часов после гибели. Твое лицо оставили нам фотографии и маска. Какое лицо! Вот оно – тревожное, безумно-удивленное, потрясенное, словно, споткнувшись, обнаружило на миг такое страшное зло, о котором ты, живой, лишь мог только догадываться!

Лицо огромного мыслителя. Этот лоб. Эти большие лучи глаз. Думающее, страдающее лицо. А вот – лицо мученика. А вот – лицо поэта, поразившего мир словом. Лицо, вобравшее в себя все чувственные состояния народа. Сам ли ты умер? Не толкнула ли тебя какая-то черная сила черного человека? Сам ли ты умер? Болезнь ли тебя привела к трагической черте? Болезнь ли? Горе ли? Травля убила тебя? Суды убили.

И тут же, как нечистоплотная свекровь, зашушукал Илья Эренбург: да, мол, да, о чем речь, когда Есенин, мол, тот самый, который недавно пас коров, а теперь создает модные школы, посвящает, дескать, стихи, как равному. Конфреру пророку Исае... Модничал, носил цилиндр.

А знал ли он, деревенский и недалекий, настоящее, мол,

назначение цилиндру и человеку? Стройный по своей демагогической беспощадности, Илья Эренбург не мог «уловить» Сергея Есенина, слишком резко они глядели на жизнь, на народ, на пророка и на Родину...

* * *

Из мглы небытия «возвратилась» Гиппиус, у которой мог «отнять кошелек» Сергей Есенин... «Возвратился», как его полоскали учебники, «мракобес» Мережковский. Да мало ли их, кого отправили под пулю и на «зарубежные» колеса?

Но «не возвратился» гениальный русский поэт – Сергей Есенин. Он раньше остался на века в России, припал к родной земле золотой головою и умер. Есенин – третья жертва казнителей, их «орденского» клана: Гумилев, Блок...

А за окном
Протяжный ветер рыдает,
Как будто чуя
Близость похорон.

«Ветр рыдает», звуки рыдают, рыдают слова – душе тесно... А телевидение? О есенинских праздниках не говорят, поэтов не показывают. Распомаживают незабвенную Боннэр. Есть у нас, наивных почитателей Есенина, и этакая размале-

ванная Нинэль. Пришел в ЦДЛ на есенинский вечер, там – Исайка. Завернул в Дом союзов, там – Андрей Дементьев. В Константинове попал, там – Олег Попцов или Познер.

Если бы наша пресса не была, в основном, не нашей, разве бы она захваливала так кровавые программы вождей революции, прорабов перестройки? Не надо ни в чем доходить до тупика, упираться в бетонную стену. Каждый, на кого я «нападаю», имеет «свое» право не меньше, чем я «свое», и никуда от этого не деться: жизнь одна, но у каждого своя, да и каждый – каждый, а не застывшая буква.

Нет у меня ни к кому зла. Пусть в их доме надежда и свет вечно согласуются. Да и можно ли о себе думать: «Только я и рассуждаю верно, а остальные – не те!» К Есенину идут, едут, тянутся. Прикоснуться – необходимые порывы человека, вдруг вспомнившего, кто он, что с ним.

Поиски нового, впереди Есенина и за спиною, предположения о его смерти, воображаемые варианты ее, нанизывание имен врагов Есенина на пику, дабы доколоть их, не врагов, а уже прах врагов – не геройство. Нужна сдержанность. Начали изучать криминалисты, эксперты, врачи, следователи обстоятельства гибели величайшего поэта, начали – полилась баланда банальностей: «Не так, а вот так, не тот, а этот, не она, а другая, не сам, а чекисты!..» И растекается отсебятина, спекулятивная жижа. Стандартники.

Красивый поэт. Вдохновенный поэт. Поощадите красоту. Поощадите вдохновение: не лезьте со «своим», не ломитесь

вышибалой туда, где трепет! Не мешайте опыту. Лишь опыт позовет истину...

Начали срывать повязки с теплых ран. Начали вертеть в ножевых пальцах золотоволосую голову: «Ах, шрам, ах, порез, ах, горло сдавлено!» Да, шрам, да порез, да, горло сдавлено, да, наверное, убит палачами, но где и когда, но кем и зачем?..

Есенина не одолеть ни любовью, ни ненавистью, ни равнодушием, ни себяпроталкиванием. Смилуйтесь над ним и над нами: работайте, доказывайте молча, не ошибайтесь по редакциям заранее, авансом не орите с экранов и сцен! И не воркуйте по конторам, защищая Есенина, у него не обозначилась нужда в вас, зобастых и старательных.

Левка Шнейвас и Петька Редькин – артисты. Под «новогодней елкой» в еврейском театре зевак потешали. Левка – тонюсенькая Снегурочка, в белой шубке, полы оторочены, и в белой шапочке, нежная и румяная. А Петька – Дед Мороз, в тулупе, варежках, ушанке, и бороденка.

Левка Шнейвас, то есть Снегурочка, кокетничал, кокетничал, подмигивал и скалился, а водку из «мерзавчика» потягивал. Петька, крадучись, ее угощал. Насосались оба «на морозе»... Петька Редькин, Дед Мороз, Левку Шнейваса, Снегурочку, и оскорби при исполнении служебных обязанностей:

– Не смей алкашить, женщина!..

А та в слезы. Разобиделась, да как задаст Петьке затреши-

ну: – Мужлан!..

Петька хохочет, и зрители хохочут. Снегурочка ревет. А милицейский чин наблюдает. Слышит, чуткий начальник. Снегурочка и Дед Мороз уже обзываются.

– Свинья! – уверяет Снегурочка...

– Дармоед! – отбрехивается Петька... – Антисемит.

Составляя на них протокол, милицейский чин зафиксировал: «Скандал на межнациональной почве!..» Но виновата не почва, а водка русская виновата:

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Это вам – Есенин. Его послание Мариенгофу. С другом прощался и стихи ему посвятил, расист... А не Хлебников ли мой втерся на сцену со Снегурочкой вместо Петьки Редькина, жидкобородый и носом влажный?..

Запылали соблазном высказаться по поводу смерти Сергея Есенина увенчанные трибунным гвалтом Троцкий и Бухарин, соревнуясь в брюзжании. А там – Н. Осинский, Л. Клейборг, П. Коган, П. Петровский, Г. Лелевич, В. Киришон. Саранча...

Витиевато и трусливо произнес над покойным поэтом что-то невнятное Л. Сосновский: «Есенин – свихнувшийся

талантливый неудачник». Так грустно обстояло дело.

Есенин, Есенин!.. Тебе слово – меч воину. Тебе слово – роса травине. А у них-то все короче и нормативнее: неудачник, и точка. А он, Сосновский, удачник? А они – удачники?..

Есенин – звезда, большая и неугасимая! Есенин. Рязань. Коловрат. Россия. Ветер. Поле. Холмы. Ока. Хочется зарыдать. Хочется припасть к земле и объясниться, покаяться перед ней, успокоить душу свою криком поэта:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.